

A decorative border with intricate floral and scrollwork patterns surrounds the central text.

Евгения Хамуляк

# БЫЛИЦЫ

Москва  
2016

УДК 821.161.1-34  
ББК 84(2Рос-Рус)  
Х18

**Хамуляк, Е**  
Х18 Былицы : / Хамуляк Евгения. — М : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2016.  
— 110 с. илл.

ISBN 978-5-906830-38-8

Дорогие друзья, перед вами необычная книга со сказками в старинном стиле, которые называются Былицы.

Этот термин придумала сказочница Евгения Хамуляк.

Каждая Былица — это увлекательная история, которая могли бы произойти в далекие времена, тогда бы она называлась Былина, но могла бы произойти прямо сейчас с каждым из нас. То ли Былица, то ли Небылица. Веселая, забавная, поучительная сказочка, где многие узнают себя.

Язык одновременно прост и сложен, слова похожи на яркие стеклышки, из которых предания сказываются, а между строк читатель оказывается где-то в лесной глубинке, где березы сережками шумят, люди трудятся в полях, девицы песни поют и молодцы жизни радуются. Не всегда легко героям Былиц: приходится себя испытывать — да на то магия водится; промахи совершать — да на то старосты есть уму-разуму учить; а добрые сказки мамушек, рассказанные у печки теплой, — научат детишек, как человеком хорошим вырасти.

ISBN 978-5-906830-38-8

© Хамуляк Е., 2016  
© ООО Издательский дом  
«БИБЛИО-ГЛОБУС», 2016



## Предисловие

### Дорогие друзья!

Перед вами былицы Евгении Хамуляк, сказочницы, которая совмещает в своих сказках мудрость и магию, настраивая юных и зрелых читателей на теплые чувства и любовь к своему дому, своим родным, земле и всему вокруг. Добрые, веселые, суровые и нежные сказки с хорошим концом.





## Сказки Маруси Козы

**Ж**ила-была на свете одна женщина, и было у нее восемь детей. Звали ту женщину Маруся Коза. А почему так звали — про то сказ еще будет. Читайте дальше. Жили они в большом доме на окраине большой деревни вдевятером: мать, семь дочек и один сыночек. Маруся Коза — матушка.

Старшенькая Маня Глазок была не только самая прилежная да учтивая, но и самая красивая. Глаза у нее были большие и, как небо весеннее, голубые-голубые. А еще ее так звали, что она за всеми приглядывала, когда мамы дома не было. Самой большой подмогой матери была. Может, поэтому и наградил Бог ее такой красотой. Говорили, в деревне были красавицы, но эта слыла своей неписаной красотой.

Далее Клаша шла, в семье Воробушком прозвали, и была она такая шустрая и быстрая, что везде попевала. Правда, иногда бралась сразу за несколько дел, не доводя толком ни одного до конца. Но если уж получалось хорошо, то цены ее талантам не было. Голова у нее стоумовая, говорили люди старые про нее. А те зря так не назовут.

Следом Людочка шла, доброй девочкой росла, хорошей. Много не скажешь про нее: больше слушала, чем чирикала. А это бесценное качество и в наши дни, когда все только как помелом и мелят.



Вера с Галей погодками были. И так уж повелось, что меж ними всегда ссоры случались, но любовь сестринская была выше всяких разборов. Обе смысленные, шустрые, а коли чего не понимали сразу, подзатыльники Мани и Клаши быстро на место ставили то, что беспорядок создало. Были они искусницы травы всякие собирать да косы плести. Ну и так понемножку по дому годились.

Нина с Лизаветой близняшками были, этакие худенькие две тростиночки. Кто на них смотрел, тот обязательно слезу добрую проливал. Не было в семье роскоши кормить детей конфетками да мармеладками, вот и были девицы тонюсенькими, будто березки молодые, с косичками да сережками... По две пары одинаковых глаз. И где бы они не появлялись — люди от умиления забывали куда шли, ибо зрелище было знатное: зеркало со своим отражением гуляет да в скакалки прыгает. Вот так конфетки и мармеладки нет-да-нет в доме и появлялись.

Ну и последним сынок шел, Иннокентием звали. Отец такое имя важное дал.

А вот самого кормильца у семьи не было, ибо времена были темные, и пропал он без вести вот уже как пять лет. Но Бог, как известно, не оставляет детей своих без помощи и заботится о них, как умеет. И хотя мужа назад вернуть не смог, почему — нам не ведомо, на то, как говорят, Воля Божья, зато, чтобы не оставить семью без пропитания, одарил он эту женщину своей милостью — могла Маруся Коза лечить хоть зверушку, хоть человека от любой болезни. И сама семья ее не болела, в работе да заботах забывая о потере, стужах да голоде.

Такосьма и жили.

Дети, хоть и малые были, по дому помогали кто чем может: кто поменьше — ему учили не сорить и зря мамку не беспокоить, а старшие друг за другом да за младшими ухаживали. Оно ведь как бывает — правду не поймешь, пока горе не придет. А здесь все понимали, что если маме не помогать, еще одно горе накликается можно... Похлеще да пострашнее. А может, просто были эти дети воспитаны сызмальства как положено, ибо родились все в большой любви, от любящих и уважающих друг друга родителей, несмотря на то, что жизнь суровая их разлучила.



И покамест мамка по домам ходила скотину на ноги поднимать и людей бедных врачевать, в энто время люди приходили и, кто чем богат, за добро добром платили.

Тяжело жилось этой семье, особенно без помощи мужской, которая порой в силе одной руки проявляется или во взгляде, надежды и благородства полного. Но жили — не тужили, жаловаться что есть забыли. Ибо каждый понимал, счастье ихнее было не в роскоши, а в совместном житье-бытье душа в душу.

А любовь, которую мамка несла в дом, как молоко теплое разливалась каждому сколько надо было. Не все гладко было, да насущное сглаживало быт.

Маруся Коза с ночи или с утра раннего уходила, как кликать начинали ее на помощь, а, как известно, заварухи да напасти на ночь глядя приходят, все от того, что темень чертей кормит. А к рассвету, с петухами, солнце алое нечисть жжет и гонит прочь, и дает врачевать хори, если на то Бог волю свою разрешает. Поэтому приходила Маруся Коза домой поздно, иногда за полночь, усталая и еле живая. Взрослые девочки уже собирали стол после себя и младших и накрывали стол для мамки своей.

Дом был большой, но жили все в малой комнате: служить и обогревать ее было сподручнее, да и умещались все, что зря жаловаться, в тесноте, да не в обиде, как говорится. Печки в те времена были большие и теплые, как руки и объятия мамины, беленые и пахли пирогами с морковкой. А остальные комнаты прибрали чисто и заперли до времен лучших, когда папка вернется, и все наладиться, как и раньше, и каждая из девушек свою комнату занять сможет.

Жили просто, и в суете сует забылось плохое; пироги с морковкой, правда, тоже забыть пришлось, из сладкого токашма печеные сухарики из свеклы водились, но зато сладкие — никто не жаловался.

Приходила мамка, садилась за стол большой дубовый, клала руки свои белые на стол, а голову на руки. Заходили сзади Маня с Клашкой, старшие девочки, и руками своими молодыми проворными расплетали косы ее русые, длинные, у корней чуть селые уже не по возрасту, по утрате своей и жизни непростой.





Работу, что Клаша с Маней оставляли, три другие, что помладше — Люда, Вера и Галя, быстро с ней справлялись: вмиг посуду перемыть, стол заново накрыть и по тарелкам, что Бог

сегодня послал, разложить. Бывало, ничего не посылал. Ну так чай пили с травами, которые летом всей семьей собирали и под потолок вешали. Вкусный чай-то бывал, сладкий и горький от трав полевых. Две маленькие, что на лицо будто одна, Нина с Лизаветой ластиться да целоваться приходили, от поцелуев сладких, которых вся усталость материнская проходила.

Ну и, наконец, скромный до всех, последним с печки слезал Иннокентий, пятилетний сынок Марусин, которого в доме Кулей звали. Так его еще отец назвал в честь деда своего, а Куля по-доброму кликал, потому, как последний раз сына видел, когда его в кулке ему показали, будто пирожка. Так все его и стали привечать, по-доброму смеясь и радуясь. Куля обычно хмурился: в душе ему ни первое, ни второе имечко никак не оседали, но при людях не отнекивался, отзывался, раз отец так назвал — значит, хорошее имя, плохое б не дал.

Слезал с печки и к маме шел, медленно и нерасторопно.

Уж больно маму любил, что как видел ее издали — плакать хотелось, так прижаться желал. Но отродясь помнил мальчик, что девки вокруг; мало ли что сестры — все равно бабы, нельзя, знал, слабеньким быть и выказывать слабость свою. Мало ли напасть какая, он один в семье мужик, только дай смолоду слабости разок выйти! Пару раз по неразумности дал, так такие ручьи слез вылились, самому страшно было, что в нем мокрости столько. И понял он, мокрость — тоже девка, нельзя ее расстраивать. Поэтому шагал медленно, чтоб не растрясти болото это.

Ну, а как к мамушке прижимался, забывал все: голова от запаха ее кружилась, тепло шло от нее, как от молока козьего парного вкусного, и так уж она его любила, что, словно девочку, целовала во все щеки и в затылок русый. Он не сопротивлялся, даже про окружение забывал и про мокрость. Чуток все-таки давал волю слезам, но тихо, как положено. И обязательно просил он мамушку сказку на ночь рассказать. И не могла Маруся Коза, хоть и мертвая от усталости бывала, отказать. Да только какие сказки, когда жизнь такая стала,







что сама на сказку похожая, порой с такими поворотами, что самому Илье Муромцу не снилось. Поэтому, откушав, что люди добрые за день нанесли, тут же садилась и рассказывала что знала, что на душе за день накопилось, что наваялось, что думалось.

А порой с ног валилась, так и не начав сказку-то. Да дети не обижались, мамку жалко было, не будили, так и оставляли спать, укрывали только потеплее.

Но был день сегодня необычный — праздничный, предпасхальный. А, как водилось, перед Пасхой люди болели меньше: то ли Боженька жалился над народом, то ли в приготовлениях да в настроениях болели люди меньше, кто их разберет благочестивых.

Мамка обычно раньше вечера приходила, да тоже чего-то успевала приготовить, накрыть на стол что припасли, а на десерт, как говорили в городах больших, просили рассказать что-нибудь интересное: про папку, про любовь их большую, про то, как, кто и когда родился, про то, как Пасху празднуют в других городах да селах и про всякое разное.

Удивлялася Маруся детям своим, как они могут про одно и то же по десять раз расспрашивать и радоваться, словно в первый раз слышат, но соглашалась — других подарочков желанных на святой этот праздник у нее все равно для детишек своих не было.

— Скажи, мамушка, почему тебя козой называют? — спросила Верочка, кой одиннадцать лет недавно стукнуло, и прыснула от своего неожиданного порыва.

— Ох, и давняя та история, — рассмеялась Маруся Коза.

— Расскажи, расскажи, — просили дети.

— Была я молода в свое время и горяча. А сурова была... Ох!

Уж если обидит меня кто, такосьма обижалась, что из носа дым шел, и будто рога у меня отрастали, да хвост сзади камни в пыль сбивал. Вот какая была мать ваша! — и засмеялась сама от души, молодость свою вспоминая.

— А если какая несправедливость творилась, так я первая в рядах за честный строй. И с парнями пару раз в драке батюшка ловил. Ловил и побивал, да не помогало. И прозвали меня Марусей Козой с тех пор. Да толькоьдралась я не просто так, а всегда за честное дело; стали меня на подмогу звать дети малые или какие-нибудь не-





мошные. И стали меня всякие люди недобрые побаиваться, а опосля одно лишь имя мое страх наводило на обидчиков. Одним словом, так и прижилось это прозвище, вовсе мне не обидное.

Да только нелегко жилось козушке. Не сидела я дома ни минуточки, егоза была та еще. И матушка уже не рада была характеру такому грозному, и батюшка не знал, как сладить со мною. И кто на мне, такой боевой, жениться захочет. А была я красавицей писаной, детушки: и стройна, и бела, а взор ясный, острый, ум цепкий, нрав веселый, характер — железо! Да отец как в воду глядел: смотрели на меня женихи, восхищались, а подойти ни один не отважился. И все вокруг пары создавали да женились, через костры прыгали да за ручку держались. Одна я окаянная, как русалка, все одна свои косы расплетала на глазах у грустных родителей, желавших мне добра и внуков wanting.

И не выдержал один раз отец, вывел меня на площадь ярмарочную, где в то время командовал и большим человеком был.

Не побоялся насмешек и позора, взял меня за косу мою русую, накрутил на кулачище свой и спросил честной народ, желает ли кто его красавицу-дочь замуж взять. Отдавал самое дорогое, любимое, но предупредил, что я росла на воле, будто трава полевая, набралась силы так, что не каждый такую скосить теперь сможет. Долго люди стояли и смотрели, молодые посмеивались, старые жалели отца. Тут вышел кузнец наш Федор, которого в деревне Горынычем звали, и говорит: «Я возьму, привык с железом-то обходиться, оно в моей руке мягким становится».

И посмотрел на меня Федор Горыныч тогда так, от чего поняла я одну вещь важную: или живу, как и раньше, куда ветер понесет вольный, да всю жизнь одинокую и тоскливую, или пришел час меняться мне. И стало совестно, что раньше я этого в толк взять не могла. С тех пор называю я вашего батюшку не иначе как Федор Горыныч, чтоб не забыть мне урока того, и в честь дня того замечательного, когда повстречала своего любимого и суженого. И увез ваш батюшка меня на свою родину, чтоб без всяких кривотолков и смешков начать жизнь новую с чистого листа, чтобы люди злые больше своих языков не чесали про имя доброе моих родителей, мужа моего да семьи нашей.



\* \* \*

— Скажи, мамушка, почему люди злые бывают? — спросила старшая из дочерей Манюша.

Сидела Маруся Коза у стола и заплетала дочерям косы узорные, чтоб завтра с утра спозаранку в церковь идти нарядными.

И удивилась вопросу такому чудному. Кабы кто знал ответ на вопрос этот. Но знала она, ответить надо так, чтоб не просто в одно ухо влетело, а из другого вылетело, а задержалось малек в головке-то. Был бы Федор Горыныч здесь, сумел бы объяснить как следует, чтоб дочки не боялись зла, а сынок вырос славным мужем. Да вот пять лет завтра будет, как ушел муж Маруси Козы и семью оставил.

Вздохнула Маруся и отвечала:

— Понимаешь, доченька, не бывает злых-презлых людей-то.

Удивились дети, аж Клаша голову воротнула так, что коса распалась в руках у матери на волны русые, словно колоски пшеницы. Не выдержал Куля, подбежал и глаза в глаза спросил:

— Как же не бывают, мамушка?! А вот посмотри на злыдень этих Верку Сороку и сестру ее Люську Кроль, что каждый день не лентяся, дразнить нас прибегают. Кричат, что мы де-не здешние, козлята чужие, дети брошенные, прогоняют, камнями кидаться желают.

— Кинули хоть раз? — спросила матушка Кулю.

— Я б им кинул, я б им Курганову гору накидал во двор! — угрозил кулаком Куля в сторону, где жили неприязненные соседи.

— Нет, не кидали, но грозились!

— Лает собака, да не кусается, Куля. Цена грош таким людям, но не злые они. Так вот собачки лают на тех, кто послабее, а кто их не слушают — на тех лаять побаиваются.

— Не понимаю, мамушка, — сказал раздосадованный Куля.

— Берите все подушки свои, да у печки раскладывайтесь по пирожку в руке. Вот и вечер наступил, расскажу я вам сказку сегодня про сестер Верку и Люську — злых заколдованных, как раз под сон хорошо, — сказала Маруся детям.

Ох, и крику-визгу радостного было, все свои подушки-сеновалки у открытой печки побросали, калачами увалились; сестры-близнецы спинки друг другу чесать давай, остальные косы заканчивать заплетать да пироги уминать, и ждать волшебный сей момент сказки.







Только Куля странным стал, чесал-чесал свой русый чуб и, встав с подушек, серьезно этак спросил:

— Мамушка, а можно ли про другое чего сказку? Коли тратить целое волшебство про каких-то Верку и Люську, противных вредин. Может, про другое сказ есть?

— Садись, Иннокентий, я про все расскажу, сегодня времени много — на все хватит. Смотри не усни!

Серьезно мамка сказала Куле, он ее тон фирменный знал; редко бывало, но знала она, как детям так сказать, чтоб более не переспрашивали. Ох, и чуб Кулин знал, и косы сестринские знавали иногда тон энтот. Присел сынок. Раз сказала — значит, сказала, на то она и мамка.

— Не бывает злых-презлых людей, ребятушки, — и посмотрела Маруся вдаль куда-то, будто бы там из-за печки кто-то стал с ней тихонечко разговаривать и сказки эти подсказывать.

— Злыми людей боль делает. Вот про нее окаянную и будет сказка.

\* \* \*

Вот помню, как все начиналось, — подставила Маруся Коза руку свою беленую под лицо точеное и помолодела сразу на двадцать лет, — как мы сюда приехали, как быстро и складно дом этот большой построили, и был он самый большой и самый красивый в деревне в те времена. Батюшка ваш искусным мастером был, и не только по части железа, — рассмеялась она сама себе. — Мог из дерева или из какого другого материала красоту наводить. На каждом углу птичку какую деревянную вырежет-поставит, окошки резные с драконами по краям выставит, ярко-ярко крышу намастит... Аж издалека виден был наш терем-теремок. Одним словом, не дом — крендель сахарный! А я внутри старалась-расстаралась — коврики-полотенца-шторки-скатерти...

Так мы друг друга полюбили, что любовь наша стала вокруг чудеса творить: весна раньше наступала, а цветы в нашем саду зацветали аж в феврале. Чудо чудное! А как наши ягодки пошли... — и с большой нежностью стала она обнимать детей своих, сначала старших, а потом и младшим материнской ласки досталось. И так младшие



дети стали умиляться рассказам, что прослезились, жалко им стало, что не застали они чудеса расчудесные и то времечко.

— Это потом деревня наша разрослась и понастроили хаток и теремков с целую гору Фудзияму, что в Японии стоит. Стали соседи к нам заглядывать, чтоб знакомиться. На нас посмотреть, себя представить. Охали да ахали, диву давались обычаям разным, одежде другой да красоте моей необычной для этих мест. Уж слишком бела и тонка я была.

Пришла однажды ко мне в гости тетенька одна. Не знала я тогда, что это Марыся Степановна, мамушка Верки Сороки и Люськи Кроль. И говорит мне:

— Знаешь, мол, меня ведь тоже Марыся зовут.

А я ей отвечаю: — Извиняйте, тетенька, да я — Маруся, матушка с отцом меня так называли.

Она мне в ответ:

— Это у вас Маруся, а в нашем крае берез мало, вот буква «у» и потерялась, видать, поэтому всех Марысями кличут.

Я серьезная сделалась, как-то обидно на душе стало за буковку эту. А она мне в ответ: — Так ты не обижайся, буковка-то одна, она не виноватая, да и других букв много осталось, они, чей, главное раз вместе. А вот что означает это все? — Интересное! Вот пришла ты в наши края, и вспомнила я, что бабка моя тоже меня Марусей звала, это потом уж подзабыли про буковку ту потерянную.

Поняла я, что передо мною добрая соседка стоит, и стала я ее спрашивать о своих терзаниях:

— Скажи мне, добрая женщина, почему люди смотрят на меня, охать-ахают и руками на меня машут, может я делаю что-то не так?

Подумала женщина и сказала:

— Ты, Маруся, красавица писаная, значит, Бог тебя любит, значит силушку тебе дарит, чтобы ты умом своим стоумовым смолоду понимала, где что хорошо, а где что плохо. Люди здесь так устроены, что если новое видят, то во всем беду чуют начинают. Такие уж мы тут. Давным-давно жили здесь люди на тебя похожие, так давненько — даже я не помню. А потом не стало их. Мы появились, а вот раз — и ты опять. Не к добру. Уж извиняй ты нас за это.

Расплакалась я тогда, не ожидала такого поворота. Да спросить боялась, к чему беда-то, когда у меня в голове одно добро было. Но







женщина та как в воду глядела. Стали с тех пор люди нас стороной обходить и, будто сговариваясь, не в нашу сторону дома строить стали, а в обратную. Были мы самыми первыми, а оказались самыми последними в деревне. По сердцу сказать, я даже обрадовалась: не люблю, когда народу вокруг много ходит, а уж тем более, когда охают и руками машут, — сказала Маруся Коза и посмеялась, улыбку в кулачке пряча, глядя на удивленные лица козлят своих, которые внимательно слушали, каждое слово в воздухе лоя, будто комариков на лету.

— Но женщина та, Марыся-Маруся Степановна, добрая была, стала каждый день заходить и дочек своих маленьких приводить. Звали их Верка и Люська. Смешные были девчонки, одна — худая, как пакля, и крикуша страшная, другая — щекастая, будто крольчиха пузатая. Так к ним и прилипли имена эти. Стали их Веркой Сорокой звать и Люськой Крольчихою.

И приносила каждый день Марыся Степановна сладости мне, а взамен просила, чтобы я учила девочек языку своему и умениям края нашего холодного.

А больше никто и не приходил. Хотя муж у Марыси Степановны был человек знатный, гордый, большой, как гора, но суровый... Гадала я тогда, и как это вода с горой один язык нашли?

А потом подумала, да также, наверное, как железо с кузнецом.

И много, и часто Марыся Степановна со мною разговаривала, умному и хозяйству учила. За все, что умею хорошо, — ей спасибо. Она мне матушкой второй стала, полюбила меня безмерно. Говорила часто, что мечтала бы меня вместо дочери иметь или вот замуж за сына выдать Николая. Да ни то, ни другое несбыточно было.

Рождались и росли дети наши с Федором Горынычем, и очень мне добрая соседка помогала, любила вас как родных. А чем больше ее дети росли, тем чаще я от нее слышала, что жалеет она, что не мы ее родня. Была у них семья большая, да нескладная. Тогда не понимала я, что почем, от чего горе горемычное по земле рождается и в дома, словно в двери открытые, заходит.

И вот пришло оно злосчастное в наш край.



\* \* \*

Прибежала однажды Верка Сорока в слезах и давай, как обычно, причитать голосом своим смурфячьим, никак не понятным.

Прошу ее: — Ясно скажи, что случилось, не курлыкай! Говорит: — Заболела мамка, тебя просит. . .

Сердце мое тогда словно наземь упало и разбилось.

Еле дошла до дома соседей наших: на сносях я была Иннокентием. Пришла, смотрю, собрались все у кровати большой, на перинах белых лежит матушка моя вторая, белая, как подушки и простыни, и говорит голосом тонким: «Маруся, дочка, подойди и поклянись, если придет момент, и попросят дети мои помощи твоей, — не откажешь». Поклялась я всем святым, что имею: родителями моими, мужем моим любимым да деточками моими славными, что помогу.

На том и упокоилась добрейшая из матерей земли своей Марыся Степановна Радуга.

\* \* \*

И настали времена темные, и почернело небо в тот год, будто и не было весны. Из далеких равнин стали вести нехорошие приходиться, что неладно там. Стали мужики совещаться, кто что говорил: подождите, торопитесь, бегите... Одним словом — времена мутные. Ждать более нельзя было. И собрался ваш папка в один день и ушел, ничего не сказав.

— Он бросил нас? — спросил вдруг Куля.

— Он умер, мамушка? — спросили Нина с Лизаветою в один голос, как обычно они делали, будто песня с эхом разговаривали.

— Как он мог одних нас оставить без помощи? — вдруг спросила Люда, метнув отцовским взором, черным и суровым.

— Вот вернется — спросим... — сказала Маруся Коза, глядя в горящие глаза детей своих. — Ушел он, чтобы узнать, что творится там такое. Сильный муж, славный сын своей земли не мог оставаться дома как другие, когда взывает к помощи родная сторона. Должен был он сам пойти, глазами своими посмотреть, где несправедливость творится. Посчитал ваш батюшка, что достаточно вы да я крепки, чтобы одним остаться и долю разделить, какую Бог послал.





Вот так и вышло ровно пять лет тому назад: увидел Кулю в кулке, а на следующий день ушел.

И пришло зло в наш край. Будто черным ветром выгорели сердца людей здешних. Озлобились они друг на друга: сосед на соседа, на нас, на Бога. И хоть был наш дом самым дальним, за речкой, стоял — никому не мешал, стали хаживать сюда люди; и больше они не охали и руками не махали, как раньше, а кричать стали, словно вороны. А громче прочих — Верка Сорока и Люська Кроль. Тяжелые времена пришли для нашей семьи, дети.

Пришел однажды Николай, сын Марыси Степановны, и позвал нас всех в свой дом на разговор. Пришли мы — а там свадьбу готовят. Верка Сорока — мяса копченые на стол режет, а сестра ее, Люська Кроль — капусты соленые достает из подвала. Выходит глава семейства и приглашает нас к столу, и заводит разговор, от которого мое сердце второй раз в жизни разбилось.

— Ты, Маруся, женщина умная, видная, здоровая и породистая: хорошая бы из тебя хозяйка получилась для нашего дома большого. А кроме дома, у нас полей и пастбищ не меньше, чем у князей, скотины — столицу прокормить можно. Меха да шубы! Да и в твоём положении мечтать не приходится, осрамил вас Федор, оставил и пропал без вести, погиб в чужих краях. Детей кормить нечем. Приданое дочерям где возьмешь, срок придет? Да и чужая ты здесь, а у нас чужаков не любят, со свету сживут тебя наши хозяйки. Такое предложение ценнее ведра золота для тебя. Выбирай вот хоть меня, хоть сына моего Николая. За каждым из нас, как за каменной стеной будешь. Все тебе! Все богатства! И детей твоих не обидим, своими сделаем, никто не вспомнит, что курляки, никто косо не посмотрит, никто камнем не кинет, что вы не кровные здешней земле!

Как заплакали близняшки, как зарыдал Куля, всю волю мокроте давая, как охнули старшие девицы на такой сказ.

— А ты же что, матушка? — плача спрашивали дети-козлята, в страхе одеялом укрываясь.

Маруся незаметно в сторону кашлянула от смеха, что страх да ужас своими сказками на детей навела.

— Рассмеялась я в ответ: да разве я могу о свадьбе думать, когда я замужем.



Так капуста из рук Люськи на пол и повалилась, колбаса по полу покатила, белое подвенечное платье Марыси Степановны, что мне готовили, на подушке лежать осталось не тронутым. Загорелись огнем зловещим глаза вдовца, побелели кулаки Николая, заходили желваки у сестер. Да разве Марусю Козу таким испугаешь.

— Ну, пеняй на себя, коза. Чужая ты здесь!

Нет у тебя теперь заступников, уходи по добру по здорову, коли жить хочешь! — вот такое мне услышать довелось от соседей, что когда-то почти родными были.

— Ну как же мы чужие, мамушка! Мы здесь самые родненькие и есть! Разве не здесь родились, разве не с этих краев наш батюшка? — спрашивали Маня с Клашей, слезы роняя.

— Земля, родные мои, чьей-то не бывает: и везде она наша, и везде не наша. Гости мы здесь всюду. Просто люди забывают происхождение свое. А кто прошлое не помнит — того и будущее не ждет. Как наша деревня называется? Вечканово. А ли кто местный знает, почему такое название? Вы Маня с Клашей знаете? Нет. Смурфяшные названия — другие, крикливые, а это — теплое, как очаг домашний. Вот сейчас здесь один народ живет, свой язык и своя культура у него, но стоит делов порасспрашивать, как выясняется, что пришлые они, нездешние. Нынешние боятся, что имя это куркулье, что здесь до них живали, да пропали потом. Поэтому в секрете держат рассказы стариков, а чужаков боятся. Жили здесь куркули, по домам видно, по дворам. Если новый дом — то смурфячный, а у кого дом старой стройки, сразу видно, как на куркульи терема похож. Но если спросить в моей деревне, скажут вам, что в этих лесах да полях всю жизнь тартары своих коней пасли, и какие они были варвары — всю дичь перебили. Осталась пара деревень тартарских в округе, что осели здесь, но и им Вечканово незнакомо, и язык их змеевидный выговорить не сможет это слово. А вот если порасспрашивать делов тартарских, расскажут, что никогда тартары строить не могли, тому их научил другой народ, моры, что далеко за холмами живет. Предания их, оставленные на коже лошадей, что здесь паслись когда-то, рассказывают, как прогнали тартары моров с мест этих и как заняли дома их. А вот моров спросить, чьи деревни, хоть далеко, да сохранились, скажут вам сразу, Вечканово — это «любимое ме-





сто» означает. Любовино, Люблино, Любимое. Вот и вся разгадка. И что получается, кто здесь ранее жил — тот и хозяин? Тогда надобно у моров грамоту на проживание спрашивать всем тут.

— И что ты матушка стала делать? — спросила Людочка, побледнев лицом.

— Не оставляет Бог детей своих, моя хорошая, и нас не оставил. Пришла подмога оттуда, откуда не ждали. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В ту самую ночь, как хотели выгнать нас с деревни, начался страшный мор, скот стал падать, будто травленный. В каждом дворе, в каждом доме. Стали люди на подмогу друг друга звать и меня позвали; и туда, куда я ходила, чей скот водой поила да травами своими наговаривала так, как меня матушка в моей стороне учила, у тех беда уходила. А потом еще хуже зараза пошла — со скота на людей болезнь перепрыгнула. И стали люди словно свечи таять. Прознали соседи о том, что Бог мне помогает, и уже не до споров было, звали и днем, и ночью, да и по сей день зовут. Чем могу, тем помогаю; и мир не без добрых людей, будь их язык куркулий, смурфячий или тартарский — нам добром возвращается. Везде семьи, везде любовь, везде дети, везде боль...

— А как ты, мамушка, спасаешь больных? — спросила Галя скромно.

— Не знаю, девочка, прихожу, смотрю внимательно я на того, кто болен, и он сам мне все рассказывает. Если внимательно смотреть и слушать, будто изнутри хворь со мною говорит.

Хворь же как живая: она тоже чего-то хочет, зачем-то пришла. Вот я ее и слушаю. Порой одного этого и хватает.

— А почему тебя колдуньей называют? — спросила тихо Верочка.

— Если люди не понимают чего — все им колдовством черным кажется. Но кажется — не кажется, а когда твой ребенок заболел, так свою руку дашь отсечь или к черному колдуну попросишься в слуги, лишь бы спасли малютку.

И пришла в один из дней беда в дом соседей наших: весь скот повымер, в неделю полегли все. Много-много скотины — столицу



накормить можно было бы. Но не звали меня. Николай с отцом да с сестрами и прислужниками день и ночь спасали, но не спасли. А потом хворь Николая выбрала и накинулась на него огненными стрелами. Но не звали и тогда меня.

Вот той ночью темной, помню, вышла я и сама пошла к их дому. Заглянула в окошки ихние и увидела, как он мечется-то: весь красный, то весь белый на тех самых перинах, где когда-то матушка его умирала. И видела я, дети, как через другое окно пришла та, которую никогда не зовут: высокая, худая и с длинной косой в руках. Ее хоть и не звали, да она позвала Николая с собой. И побелели сестры его от страха смертного, осиротели на братика своего любимого, искривились их лица от слез и рыданий отчаянных, исковеркались в муках, да так и остались косыми от боли. И я стояла, плакала. Ибо никто не знает, где найдет, где потеряет. Не пошел Николай с Федором Горынычем правды искать и помощь оказывать земле родной, думал, переждет времена темные в родительском гнезде, а вот и не переждал, не случилось.

И с тех пор боль поселилась в доме соседей наших, хоть и в хоромах жили, нужды не знали, да потерялся вкус хлеба-пива — потеряли вкус к жизни. Перекошенных сестер, чьи лица превратились в оскалы волчьи, никто в жены брать не хотел, даже с большим приданым. И от этого они еще больше ожесточились, еще злее стали. Отец их постарел вмиг и сгорбился, ему после потери сына более не нужны стали ни заботы, ни дело, ни мир людской.

И когда вижу я их на улице, вспоминаю ночь ту и горе безутешное. И знаю, что это боль их так разговаривает, а не злость. Злых людей не бывает, ребятушки. Бывает так больно, что человек человеческий вид теряет.

Стали детки плакать и жалеть Веру Сороку, худой костыль, да сестру ее Люсю Кроль, будто пчелами покусанную, никому в целом свете не нужных. Не насобирали за жизнь свою ни добрых друзей, не обзавелись семьи верной, не приобрели ни любви, ни уважения.







Как тут не пожалеешь?! Теперь все ясно выходило, как представили себя ребята на месте сестер. Не по себе им стало.

Переглянулись меж собой и крепко-накрепко обнялись, поклялись никогда не ссориться и мирно жить.

— Поэтому, Куля, слушай матушку свою внимательно. Счастливый ты человек, у тебя аж семь сестер: одна красивей другой, добрые и прилежные, а любят тебя безмерно, единственного своего братика — другого у них уже не будет. Вот вырастишь да женишься, пойдут у тебя детишки, и сестры всегда тебе в помощь будут аль советом, иль делом. Да и вам, сестры, в заметку: брат ваш мужчиной вырастет, помочь ли, защитить ли — не знает никто, как жизнь-то сложится, а стенка крепкая всегда под плечом. И стенка эта — Иннокентий наш. Держитесь друг друга, помогайте!

— А папка, папка разве не вернется? — спрашивали слезно дети.

И молчала в ответ матушка, слезы сдерживала, чтобы не расстраивать детей своих накануне большого святого праздника.

— Скажи, матушка, а ты умрешь? — спросила Лизавета, а Нинка ее в плечо толкнула.

— Вернется папка или не вернется, а я еще твоих внуков женить буду, — говорила Маруся Коза.

И все дружно смеяться стали, слезки свои в стороны размахивая.

Как вдруг стук сильный в дверь разбил это мирное семейное веселье.

Кто-то пришел за Марусей Козой. Пошли Маня с Клашей дверь открывать, а Вера с Галей пошли за одеждою для матушки, Куля побежал за лукошком, что мамушка с собой брала всякий раз.

Открывают двери, а там Люся Кроль белая как смерть стоит, в слезах и немая от страха. Что случилось? Что приключилось?

Молчит окаянная! Посмотрела матушка на нее внимательно, взяла ее руки холодные в свои белые теплые, погладила ее по плечу по-доброму и сказала:

— Скажи, Люся, скажи, оттай, не враг я вам.



И посмотрела Люся на Марусю Козу, ту, которую матушка любила больше, чем дочек своих некрасивых и злых, посмотрела на ту, что не спасла брата ее любимого единственного, который заботился и любил нежно, посмотрела в глаза ее ясные, открытые и добрые, набралась сил своих последних и сказала:

— Помоги, Марусенька, сестре моей Верке, помоги, пожалуйста...

И бежали они быстро-быстро, и Куля сзади всех бежал лукошко нес, и плакал по дороге тихонечко, так ему злыдню Верку, которую никто никогда не любил, окромя мертвого брата, жалко стало, а за себя бестолкового стыдно: как он ей в ответ рожи строил, обзывал уродиной и оглоблей, костылем, камнями хотел кидаться.

Прибежали в дом соседский и увидели, что Верка в два раза тоньше стала и лежит на высокой кровати, где когда-то брат лежал, а до него матушка их Марыся Степановна.

Притихли все у кровати, девочки вполголоса плакали, старшие Люсю за плечи тепло держали.

Смотрела на Веру Маруся Коза, смотрела и ничего не говорила. А Верка в забытии была, как тут с болезнью поговоришь, как спросишь что не так? Как помочь в молчаньи-то? И тогда взяла тетя Маруся Веру на руки, будто дочь свою родную, и стала ее укачивать, да песни родительские колыбельные петь, и сказки свои рассказывать про то, как познакомились они, про жите-бытье, про посиделки совместные, про мать ее Марысю Степановну, какая она была добрая да хорошая, как про Верку хорошо говорила и добра желала, как внуков надеялась Веркиных и Люськиных понянчить, да не удалось при жизни-то.

И что-то стало происходить вдруг с больной девицею: задышала Верка, закашляла, да с кашлем тем хрипучим вышло из нее облако темное. И лицо посветлело враз, распрямилось, освежилось и больше не кривилось. И хотя бледна была да худа, не в моду этим краям, больше на куркулей похожая Верка стала, похорошела на глазах, на белого лебедя стала похожа с тонкой шеей гордой. И приподнялась на подушках, и взяла Марусю Козу за руку, прижав ее к губам своим бледным, и заговорила вдруг.





— Пожалуйста, — сказала Верка, — будь моей второй матерью. Скажи, как зовут тебя полным именем, хочу тебя отныне уважительно величать.

Удивилась Маруся и чуду выздоровленья, и словам.

— Любимова Мария Ивановна, — сказала Маруся Коза и, обняв крепко девушку, погладила ее по волосам светлым. И не похожа была Верка больше на сороку крикливую, чисто лебедь благородный стала, точно вторая копия Марыси Степановны.

— Теперь знаю я, почему моя матушка тебя так крепко любила, Мария Ивановна. Было за что. Спасибо тебе за все! За то, что ты есть, за то, что матушке моей дружкой была, нас любила и учила, не попрекала за глупости. Век тебе благодарна буду, что не отказала и слово свое сдержала. И если можешь, стань мне покровительницей. Плохо нам с сестрой одним сиротинушкам, потерялись мы, двери открыли свои настезь, да не тому, чему матушка учила, а всем ветрам на растерзание. Счастье было — да все на пустое растравили. А вместе, чей, легче жизни радоваться. Забудем плохое, Мария Ивановна!

И кинулась Люся к живой сестре на плечи, и целовала ее в щеки розовые, в глаза посветлевшие, и сама осветлялась и освежалась, и, превращаясь в милую девушку круглолицую, с носом вздорным и нравом веселым. И тоже целовала новую нареченную матушку и просила прощения.

А когда поутихли слезы да объятия, сказала Вера Марии Ивановне, что давеча вернулся с войны один вояка знакомый и сказал, что война закончилась, победили люди верные, и что видел он Федора Горыныча живым и здоровым, и возвращается тот домой в стан свой родной, к жене и детям любимым.

Вот и в третий раз упало сердце Марии Ивановны, да только не разбилось больше, а взлетело выше вышнего.

— Матушка, а давайте загадаем в ночь эту волшебную все вместе, чтобы завтра наш батюшка вернулся живым-здоровым, и устроим пир на весь мир! — задорно сказал Куля и хлопнул в ладоши свои.

А Мария Ивановна вдруг посмотрела опять за печку, и образ ее стал раздваиваться: одна осталась так сидеть, как и ранее, счастьем радоваться, вновь обретенным друзьям и фамилии, а другая ее по-



ловинка незаметно, будто ветер шальной, будто облако быстрое, из дверей и из дому вылетела, и по полям побежала, по лесам полетела сквозь ветки, траву, ночь и время обгоняя. Летела и увидела, как идет в ночи по траве высокой, при звездах больших муж ее Федор Горыныч, живой-здоровый; окрепчал, омужал, огрубел, поседел совсем, но образ его благородный, любимый, желанный только краше стал, только ценнее для жены его преданной.

И он будто почувствовал, остановился вдруг, воздух свежий родной носом вникая, понял, сердце Марыюшки-красавицы проведать его прилетело, и улыбнулся звездам. А в ответ его сердце мужицкое верное ответило, что вот теперь все хорошо будет как в сказке.

## Конец





# Сказ о добре и зле, Старшей Сестре и Земле-матушке

## Часть первая

### Радужка

**Н**а просторах широких равнин, поросших белоствольными березами, в знаменитых владениях, богатых на силу богатырскую, радужность гостеприимную да на сказки с былинами чудесными, в одной деревеньке, на самой ее на окраине стояла избушка подлатанная. Скромненькая избушка, но чистенькая, и жила в ней девушка одна красивая...

Жила-была-поживала худо-бедно одна-одинешенька, да не жаловалась.

Жила скромно и тихо, ибо не было у нее ни матери, ни отца, ни помощников, ни заступников. Жила, из дома не выходила, ибо была она хвора и болезненная, как в народе говорят, юродивая. Ножки девичьи с самого сызмальства ходить отказывались, в сучья сухие со временем превращаясь.

Но не только это горе знакомо было девушке.

Ходили плохие разговоры да сплетни о ней, как будто мать ее и бабка колдуньями черными всю жизнь прожили: глазили детей, ворожили, чужих мужей от домов родных отворачивали, врачевали травами да лягушками, пользовали всякую нечисть для забот своих. Одним словом, колдуньи проклятые.

И хотя давно уже земля эта на просторах своих ненавистных ни бабку, ни мамку не носит, а всё равно народ честной, на охоту собираясь али по грибы, мимо проходя ветшалого домика, крестится по привычке и через плечо левое плюет. Авось, пронесет, и на всякий случай.

Вот такая судьба нерадостная юную душу встречала. И не знай, кому плакать, не знай, кому жаловаться, не знай, как дальше жить и чего еще ожидать от такого начала грустного.

А все потому, видимо, что девушка майской рождена была, а как правильно в народе говорят: кто в мае родился — тому на роду суждено всю жизнь маяться.

Но жила та девушка, не тужила, ибо людей добрых на земле все-таки больше, чем злых, и чужих детей в деревне не бывает: всех майских особенно отмечали и привечали, ибо на Ивана Купала зачатые Богом подаренными считались. А уж если Всевышний послал такое счастье, то только на радость. Ибо дети — это всегда за счастье — свои ли, чужие ли.

В такую ночь, единственную, благословенную, Бог удачу свою миловал и вдове ранней горемычной, и одиноким парам бездетно безутешным. Поэтому, когда на следующий год в мае начинали женщины на сносях выхаживать, — никто не знал, кто чей кому придется, и потому давно условились любить и помогать, кто чем может всем новорожденным беспрерывно, беспрекословно и от всей души да всем миром.

Именно поэтому каждый день та или иная хозяйка нет-нет да заглядывала в обветшалую избушку поглядеть, как дела, прибраться, приготовить ко сну бедное дитя больное.

А кто славе плохой избушке поддавался, сам приходиться чумился, то просто гостинцы и подачки передавал.







К слову сказать, Бог если забирает, то обязательно взамен что-то дает.

И ходила молва по деревням да окрестностям, что дар древний колдовской и Раде отошел после страшной гибели бабки черноглазой, чей дом сожгли за грехи нечестные, и матери, что страшной расправе женщин попала за козни и колдовство.

И частенько приходили ходоки разные к порогу ее, околачивались и лихие, и прыткие, поддавшись слухам про то, что красавица болезненная только днем на скамейке сидит, ноги деревянные полотном покрывая, а ночью распускались они чешуйчатым змеиным хвостом и выползала молодая колдунья в лес клады искать, которые потом в подвалы свои прятала.

Другие заходили болезни свои лечить или проклятия тяжелые снимать. Веровали, что девушка святая, раз юродивая, и Бог ее лучше слышит, чем остальных.

Ну, и разные молодчики заглядывали на красоту юродивой подивиться, кто посмеяться да дров наломать, кто в серьез захаживал для разговоров обстоятельных.

Многие жители из Вечканово да из других ближайших селений наслушавшись таких историй, боялись поначалу того места, но слухами, как известно, земля полнится, а умные люди переспрашивают да проверяют, сами гляючи. Вот и выяснилось: несмотря на плохую славу, никого бедная девушка не ворожила, никого не врачевала, молодчиков не принимала, никому не мешала и из домика своего вовсе не выходила.

Приходили люди, просили, кому чего не хватало — да всем отказывала горемычная. И остался на языках только один слух, что красавицей слыла неписаной, с сердцем добрым и открытым, на язык находчивая, мудра не по годам, такая искусница сказки рассказывать, что и взрослым интересно послушать, и в чудеса верить хочется. Говорили, кто с ней побеседует, сказок занятных послушает — у того душенька успокаивается, икота проходит, сон возвращается, а дети после посещения избушки Рады домой мирные и благодушные прибегают. Одним словом, чудеса, да и только.

Ходили взрослые смотреть, что такое юродивая красавица делает, от чего дети добрыми и ласковыми, воспитанными и мирными



возвращаются. Глянут — рук не накладывает, зелий-трав не дает, шептать — не шепчет проклятий и заговоров страшных. И поняли тогда, сами послушав сказочек ее, что это они диво творят: заставляют головушку юную работать, сердце чувствовать, тело трепетать. И оставили юродивую в покое жить. Даже те, кто пристрастно к славе родовой относился, всё равно детей своих послушать сказок посылал. Авось, пронесет, и на всякий случай.

И с тех пор, как открылся в ней такой талант, Богом даренный, стали девушку любя Радужкой звать, перестали бояться ее местные; ну, а неместным можно и побояться, это никогда лишним для чужих приبلудных не станет.

Так жизнь Радужки и текла, хоть и недвижимая она в избушке сидела, да вся в гостинцах, подарках, помощи и ухаживании, в детском смехе да дружеских общениях.

\* \* \*

Вот так сидела она однажды у себя в теремке у окошка лубяного и глядывалась в природу, что улицу в весну раскрашивала розовыми да белыми красками, ароматами любви и нежности.

И спрашивали дети девушку:

— Есть ли, Радужка, у тебя желание заветное?

— Есть, ребятишки, — и, вздохнув печально, прикрыв глаза свои цвета весенней травы, замечтала.

— Хотела бы я однажды скинуть с себя эти струпья деревянные и опереться на ноги свои молодые здоровые и выбежать из тюрьмы моей навсегда. Побежала б я тогда по лесу свободная, пока не устала бы. И, надышавшись воздуха родного вдоволь, отправилась бы до знаменитых черешневых садов прекрасных, которые как раз зацветают в мае в центре нашего создания в древнем городе Аркаим.

— Ой, Расскажи-расскажи про Аркаим, милая, — просили мальчики и девочки, улгшиеся после доброго обеда с пирогами знатными, что матушки нанесли к полуденному сну, на полах теплых, устланных коврами, вязанными с узорами дивными, что Радужка придумывала, глядя в окошко, мечтаючи.

— История эта древняя, дети... Случилась она давным-давно, да до сих пор продолжается.





Родила Земля-матушка себе на радость детишек любимых: четверых смелых и добрых сыновей и одну дочь преумную. Явились они на свет небывалой силы и небывалой благородности. И дала им Матушка зарок — жить на радость и на счастье друг другу, ибо никого, кроме них, больше не было. Выросли дети, поумнели, окрепли еще больше и разбрелись по разным сторонам, принялись осваивать просторы и владения своей матушки кормилицы. Всю землю обошли, везде побывали, все секреты своей матушки разузнали, пока вновь не встретились. И вышел между ними спор неожиданный: кто Землю-мать из них лучше понимает и кого она за это больше всех любит?

Глупый спор вышел: разве может матушка только одного из своих детей любить? — засмеялась Радужка. — Но завелись великаны раскрасивые да разумелые, разыгрались в споре не на шутку, аж земля под ногами трещать стала и в разные стороны расходиться, ломая все вокруг, причиняя страшные муки прародительнице. И вот самая Старшая Сестра пошла на хитрость: разделилась на пять частей одинаковых и в каждом споре со своими братьями выигрывать принялась.

Прознали о таком коварстве братья, разгневались да и устроили ей расправу.

Земля-матушка от таких злоключений в печаль впала, глядя, как дети родные ругаются и в лихо впадают. И не в силах смотреть на беду такую, на раздоры гневные, уложила их спать на веки вечные. А чтоб от скорби и уныния не сгинуть, взяла у них по капельке кровушки, и сделала из этого людей и животных множество, расселяя по своим просторам, уделяя каждому свое место и внимание. Но чтоб больше зла не творили — лишила их силы волшебной, но дала каждому по паре, чтоб не скучали, а вкушали лишь хорошее, любили друг друга крепко и жизни совместной радовались. А она вместе с ними, глядячи.

Так уснули боги наши росные, от которых мы с вами появились. Огромный холм-капище Аркаима в центре земли нашей, откуда мы все произошли, хранит их вечный сон в память об ушедших днях. И закончились бы споры вечные: кто всех сильней, кто могущественнее, кто на земле править будет, если бы старшая из детей, недаром что самая первая родилась, притворилась, что уснула... Увидела она,







как матушка новых детей нарожала, как радуется-не нарадуется им, и ожесточилась сердцем на родимую и на отпрысков новых. Разделилась на тысячи копий единокликих с черным злым сердцем внутри, обратилась в человека и пошла по миру чинить злобу и обиду, мстя ревностно людям за любовь Земли-матушки и за вечный сон для братьев своих любимых, по которым скучала сильно, ибо как сказано, никого роднее их у нее не было.

— Так и ходит, злится до сих пор? — вопрошали детки.

— Да, ходит и сеет злость вокруг, и люди поддаются проклятью Старшей Сестры и тоже ожесточаются, сердцем чернеют и ищут отмщения. . . Да не находят его, как и она, ведь зло лишь зло порождает и ничего больше. Да невдомек обиженной сестре и злым людям, что их беда — их вина.

Замолчала Радужка, перевела дух, поглядела в небо, провожая вальд улетающих лебедей, и продолжала.

— Матушка-земля всем детям своим учала каноны священные, единственно верные: каждый должен счастливым стать, найти себе место на просторах широких, встретить друзей верных, обрести пару желанную, создать семью благополучную и продолжить род, передавая радость бытия другим поколениям. Быть по жизни добрым и справедливым, верным и честным, мать и отца любить больше всех, на добро добром отвечать, других детей Земли-матушки, зверушек да травку уважать и любить, ибо все мы одним миром мазанные. И продолжать ее начало в себе — расти и улучшаться.

— А кто же зло остановит, Радужка? Каждый день вести приходят ужасные, что за морями-океанами люди других людей бьют цепями черными, мяса животных и падали пожирают, леса вырубают и реки высушивают. И что нет этому ни конца, ни начала. Страшно становится. . . — забеспокоились ребята.

— До тех пор зло катиться будет, пока окаянная Сестра не умиротворится. Много времени прошло, много зла переделано, да только не нашла несчастная покоя в мщении, ибо никогда и никому в злобе покоя не будет. Говорят предания, что стоит только Сестре вновь в лоно матери прийти, покаяться и прощения попросить — проснутся боги росные, братья окаянной, те, от кого мы с вами пошли. На-







станет мир во всем мире, и снова начнется пора славная, где все друг другу семья любимая, а во главе, помогаючи, боги-прародители.

— А долго осталось ждать, Радужка?

— Каждый год в один и тот же день на пупе земли, на холме Аркаиме, в месте, где Матушка-земля всех породила, расцветает чудо расчудесное — черешневый сад, благоухающий на весь свет; зовет аромат на праздник большой, на день сотворения мироздания. Собираются люди со всей земли, кто корней не забыл, кто каноны священные помнит. И каждый год ждут, молятся, надеются, что боги древние проснутся и возвратят покой прародительнице. Зовут-кликают Старшую Сестру усмириться, вернуться в лоно матери, подношения ей делают, увещевают молитвами. Но до сих пор душа ее не успокоилась, видать, никак не желает остепениться, грехи свои отпуская. Все ищет и ищет новых себе жертв. Упрямая Сестра Старшая! Сама несчастная — тысячу лет в старой обиде бродит, козни строит и другим не дает жить. А коли другим счастья не желаешь, то и сам никогда счастливым не станешь.

— Так надо изловить ее кумушку-голубушку да в бочку с водой колодезной посадить. Быстро прощения попросит! — вершали детки.

— За столько веков научилась Старшая Сестра прятаться под кожу и личину простых людей, а порой в животных обращаясь. Только словишь, только поймашь — глядь, а она уже в другом месте набедокурила.

— А как же узнать ее, проказницу? — спрашивали детки, левый глазик закрывая, а ротик алый открывая от сладкого и пряного, тягучего и липкого, как медок сна грядущего.

Вздохнула девушка, будто вспоминая что-то печальное и, посмотрев в окошко на улицу, продолжала:

— Узнать не сложно... Кто темным силам поклоняется, мысли черные от добрых людей скрывает, дела за ради злобы и зависти делает, вольно или невольно, под ночным покровом чужое ворует и хитростью не свое выманивает — в том живет частица души Старшей Сестры. И нельзя водой такую душу отмыть, нельзя уговорами заговорить. Пока сама окаянная не поймет, что злость ее несчастной делает, пока сама не остановится, добром чистым не обернется, всю черноту с сердца счищая, — ничего не изменится, ребятушки.



Посмотрела больная девица на гостей своих маленьких, словно пирожки по полу рассыпанных, сладко дремлющих, и сама хотела на чуток прикорнуть на подоконнике.

Как вдруг один мальчуган с полу поднялся, будто на него волшебный сон-сказ не действовал, и спросил:

— И тебя Старшая Сестра прокляла, значит?

Удивилась Рада вопросу волнительному и тону серьезному:

— Ты почему не спишь, Кирилушка?

— Коли найду я проклятую Сестру Старшую, приволоку в древний город столицу нашу, где черемухи растут, проснутся боги наши славные, выздоровеют твои ноженьки, милая Радужка?

Обняла молодца девушка, поцеловала в чуб его русый от души.

— Матушка моя, умирая, предрекла мне, — смущенно изрекла Рада, — если я колдовать не буду, как она раньше, а до нее бабка моя, а до бабки — древние женщины, ноги мои в деревяшки сухие превратятся, ибо проклятье на нашей семье стовековое, с дьяволом кровью подписанное. Каждый год все выше болезнь меня точить станет, а как сердца коснется — одервенею..

Заплакал тихонечко Кирилка, хоть мужчинам это и не положено было.

А Радужка утешала:

— Да я сильно не печалюсь, дружок, и ты не плачь. Мужа и детей у меня нет, большого хозяйства или богатства тоже. Терять нечего. Пожила чуток, порадовала друзей сказками да глупыми выдумками — хватит с меня.

— А почему не колдуешь? Ведьмы не только кровь пьют, но многим чем помогают. В соседней деревне, сказывают, живет одна такая, Маруся Коза, с хворями разговаривает, тяжелые болезни уводит. Любят и уважают там эту ведьму.

— Видела я, Кирилка, к чему колдовство приводит. Бабушка моя в доме живой сгорела, пусть душа ее очистится, а матушка, всю ночь проплакав слезами горячими, наутро поклялась отомстить всем виноватым. И начались черные времена в округе, когда семьи как орехи кололись, дети умирали на руках у матерей, и люди в тени превращались от черного ее колдовства. Пока и мою матушку не поймали и осинового кол ей в сердце не воткнули, чтоб остановить проклятие.





И я лучше одервенею, чем на эту дорогу шаткую ступлю. Коли должен кто умереть — пусть умрет, а коли жить хорошо захочет — узнает, как и без моей помощи.

Вот в чем себе отказать не могу — то детей хворых лечить. Тут мое сердце не подвластно моему решению. Но только словом, только добрым отношением...

И нежно так в глаза Кирилке посмотрела отблеском своим травяным, проникновенным, что слезы детские тут же высохли и мальчонка улыбнулся в ответ светло.

— Ну, а за что же тебя тогда Боженька наказал?

— Каждый день, Кирилка, его прошу простить за грехи родителей, да видно, кроме маминого пророчества, ничто мне не поможет.

— Какое пророчество? — оживился малый защитник.

— Умирала матушка страшной смертью, с осиновым колом в сердце десять дней и десять ночей, уча меня черному мастерству колдовства и ворожбы, — шепотом продолжала на ухо малому другу Рада. — Все умею, все могу! Сила во мне невиданная: все секреты мне матушка перед смертью открыла, хоть и было мне пяташка лет. Не стала я окаянную родительницу огорчать, что не собираюсь дело ее продолжать, вот и раскрыла она мне на прощание перед самым своим исходом секрет страшный. Снимет проклятье лишь женщина с каменным сердцем...

— Злая колдунья? — обомлел мальчуган.

— Вовсе нет, добрейшая из добрейших, с благородным и гордым сердцем, которое матушка моя разбила ей. Но Боги смилостивились над несчастной, и, чтобы не лишить семью главной опоры, на которой, будто на сильной яблоне все плоды, и счастье держалось, ее сердце окаменело от горя. Навсегда.

А как найти ту женщину — я, мальчик, не знаю. Издалека ли изблизи не видны мне сердца, ни каменные, ни обычные человеческие.

Кирилка положил руку свою дружественную на плечо юродивой и улыбнулся открыто.

— Верю, счастье найдет тебя, милая Радужка! Не может быть, чтоб на одну тебя такие несчастья обрушивались. Где-то и тебе кусочек радости припасен.



— Потерялся, наверное, мой кусочек, дружочек мой.

Обнялись друзья, смахнули слезу, глянь, а на дворе уж и вечер. И шум-гам за окном!

Детки-пирожки попросypались вмиг, в чем дело посмотреть, из домика вылететь захотели, столпились у дверки деревянной скрипучей, да и обомлели от чуда расчудесного, что в сени к Радужке пожаловало.

Так и попадали гурьбой развеселой на половички назад, расступаясь.

А явилось в сени к юродивой и впрямь сказочное диво: лебеди белые в избушку вплывали, крыльями белоснежными размахивая в поклоне. И уже не лебедями оборачивались, а высокими березами белоствольными с сережками серебряными в ушах да нарядах царственных. Открывали серебристую листву, шумя нивой кружевной, превращаясь уже в белолицых красавиц, одна краше другой. А после эдакого чуда в избушку, склоняя широкие спины, входили молодцы красные с лицом смелым, открытым да приятным, по родству, видно, братья лебедей распрекрасных. Входили и расступались в разные стороны, пропуская самое главное волшебство, от которого свет шел невиданной силы, аж издалека, серебром покрывая все-го, до чего прикасался. Вошла ли, вплыла ли княгиня благородная, про которых только сказки сказывают: высока, стройна, будто луна, усыпана жемчугом, от высоких воротников до полы серебряными нитями ушитая, сверкая звездами поднебесными со всех сторон. Кто ее хоть раз видел или встречал, взгляд не мог более отвести от лица ее тонкого, красивого, от очей глубоких мудрых, ото рта алого макового, от сияния ее живого, облагораживающего любое окружение, серое белым преображая.

Вошла, склонила голову величественную в поклоне и попросила присесть на лавочку. Поразились дети и Радужка гостям таким небывалым, знатным, что не могли слово вымолвить. Княжна подождала чуток и присела все-таки, после нее усадились четверо лебедей молодых и четверо витязей удалых, всю светелку маленькую занимая, теснотой мучаясь, да не жалуясь.

Молчали все. Гости знатные, гости славные, раз пожаловали — сами разговор начать должны. Так положено.





Оглядела княгиня светелку убогую бесстрастно, посмотрела на хозяйку домика взглядом своим премудрым, выдавшим разное, и заговорила, наконец, голосом женственным бархатным:

— Здравствуй, Рада. Давно про тебя знаю, ходят сказки по земле нашей и до меня дошли о колдовстве твоём великом. Вот и я пришла вопрос тебе задать, какой меня уже много лет мучает. Может, ты сможешь проклятье с меня снять, от которого я сон потеряла.

— Прости, государыня, не знаю, как правильно обращаться к тебе, чтобы не обидеть, — собралась с духом девица юрдивая, беспокойно покрывала на ногах поправляя. — Да только не по адресу ты обратилась, не колдую я.

Удивилась княгиня, брови черные месяцем вскинув, посмотрела вверх, будто вспоминая прошлое:

— Как же так! Помню и бабу твою, сильнейшую колдунью, что могла одним взглядом стадо быков усыплять, мановением руки воды останавливать в шумных реках, умела на метле летать по воздуху, с чертями дружбу водя. Помню матушку твою, сильнейшую чаровницу, мановением руки тучи на небе наводит способную, ураганы подымать, одним лишь взором своим ведьмовским любого из смертных мужчин в себя влюблять.

— Давно мертвы мои родительницы, — печально опускала глаза несчастная Рада.

А благородная гостья будто не слышала ответа девушки.

— Каждый день снится мне один и тот же сон: словно скребется кто-то ко мне в дверь. Открываю ее окаянную вот уже двадцать лет и нахожу на полу мышонка серого... Беру его в руки бестолкового, а он и умирает у меня. — И княгиня наяву показала: руки свои тонкие перстнями унизанными, раскрывая ладонями вверх и уныло глядя на пустоту. — И каждый день этот сон меня преследует и покоя не дает, после которого день не день и ночь не ночь — все одно...

— Прости меня, гостья благородная, — жалобно отвечала девушка, — нечем тебя порадовать.

И опять гостья высокая, не слыша ответа, продолжала:

— Говорят, ты клады под избушкой прячешь. Так забери все мои сокровища, но верни покой душе моей.



— Верно говорят, что бабушка и мать черным ремеслом колдовства промышляли, чем славу плохую нажили. Не стану отрицать. Да только я другая, поверь, княгиня. Ни чар, ни зельев, ни сокровищ у меня нет.

— Вижу, ошиблась в тебе, — огляделась вновь величественная гостья, — иначе б в других хоромах меня встречала бы. Так колдуньи не живут, — и приноровилась встать. За ней махом поднялись сопровождающие, светлоликие девицы и молодцы.

Вдруг что-то случилось с Радужкой, помрачнела девушка лицом, еле-еле сдерживая слезы горькие, которые давным-давно никому не показывала. И глядя на разочарование, вызванное своим ответом, захотелось ей на жизнь свою пожалиться и подосадовать гостью своей возвышенной.

Как бы она хотела помочь этой бедной женщине, как бы хотела снять с нее тот недуг, что всю жизнь вкуса лишает. Как бы хотелось Радужке иметь в покровительницах вот такое семейство благородное и дружное, которое никогда не знала девица.

— Дала я зарок себе никогда черного колдовства не касаться, будто эта дверь навеки заперта. Ведь столько зла принесло оно моей семье. Помню, как впервые матушка учила меня травы лекарственные собирать, зелья варить. А батюшка, пусть земля ему станет родительницей, учил читать и истории интересные из своих книг рассказывать, которые я теперь детишкам пересказываю.

Встрепенулись лебеди, сережками серебряными звеня, встряхнули порывисто плечами молодцы, побледнела княгиня от таких речей, но продолжала Радужка:

— Хорошее было время, не ведала я тогда, что это и есть мое счастье. Ведь, несмотря ни на что, мать с отцом и бабушкой крепко меня любили. И для меня вовек они останутся родителями единственными и любимыми, — всхлипнула девушка. — Но в один день все закончилось. Вот тогда прозрела я, хоть и совсем юна умом была, что всякой вещи есть конец и цена, когда сожгли бабкин дом и мать мою за злодеяния растерзали.

И десять дней и десять ночей вот здесь, на этой самой лавочке, где вы восседали, матушка моя кончалась с осиновым колом в сердце и рассказывала все свои секреты черные. Учила жизни и законам сво-







им ведьмовским. Да хоть и было мало годков, каждое ее слово мне на сердце каленым железом отпечталось.

— А где же отец твой? — спросила княгиня с придыханием, боясь пошевелиться от откровения юродивой.

— Как только матушка силу свою дьявольскую по капле терять стала, так и он несчастный в воздухе растворился. То ли был, то ли не был, — в пустоту скорбно сказала Рада.

И посмотрев на благородное лицо своей гостьи незнакомой, раскрыла покрывала вышивные с ног своих бедненьких. И ахнули все! Вместо них у юродивой сучья лесные тарашились в разные стороны, а кожа девичья в струпья осинового коры превратилась.

— Никому и никогда я этого не говорила, но вам почему-то сердце мое просит открыться-поплакаться, вижу, что вы светлая и сильная, добрая и мудрая женщина. Пожалеете бедняжку проказную.

Умирала матушка и почти перед исходом открыла мне страшный секрет. Говорит, чуди лихо, чуди злобу, вздымай черные реки, что под землей текут на погибель тех, кто радуется, ибо в этом наша жизнь. А коли воспротивишься — одереveneешь! Спросила я, да разве можно в злобе век прожить? Неужели в любви не получается в нашем роду? И тихо зашептала она, слезу единственную пуская перед смертью неминуемой, оставляя меня одну одинешеньку на белом свете, что есть такая сила, есть такая возможность, да только крошечная, как сердце мышонка. Если пожалеет наш род женщина благородная с камнем вместо сердца — чары рассеются и я девушкой стану, а ноженьки обратятся ровными молодыми как раньше. Да только, если она на такое решится — сердце как камень расколется и умрет в тот же час.

И слова такие просила припасти на тот единственный случай. Должна та женщина знать и верить себе: была она лучшая, красивейшая и любящая из жен, прекраснейшая хозяйка и мать, мудрая советчица, веселая напарница, подруга добрая, великодушная из матерей Земли нашей, от которой доброта и благородство простираются во благо всех живых. И никто и никогда с ней в этом соперничать не сможет. И чтоб простила себя, ибо ни в чем она не винтовая и ничего плохого в жизни не сделала. Пусть себя не корит. Отвернулось Солнце от Луны по коварству злобному, магии древ-



ней, что сердца живые в камни превращает. Любило Солнце Луну без памяти и до конца дней своих, только проклятие тяжелое, каждодневно наводимое с травами горькими, сковывало силу светлую от возвращения. Вот и все.

Как стояла гостья неподвижно, словно изваяние, слушая несчастную девушку, посерела лицом вдруг, рот в бездыханье открыв и руки распластав в стороны, словно от удара сильнейшего, так и упала за-мертво на пол деревянный под крик и слезы детей своих и малышей, слушателей нечаянных этой трагедии.

Побелели парни, обомлели девушки, за голову Радужка схватилась от такой беды, что натворила. И от ужаса и неприятия поворота горестного, будто проснулась ото сна, развела руками молодыми по воздуху, от чего крик успокоился, и все на места свои сели, и заговорила над мертвой княгиней голосом вещим древние слова:

*Гори — ныне флори-броди*

*Вита — Флора воротитя*

*Вера — вита доброслове*

*О! Жы вита! О! Жы вита!*

*Жито зло лено льено*

*Авиталище у-бого*

*Ввели добро у порога поминае*

*Звица фито*

*Како люди мыслицо*

*О! Ви Вита! О! Ви Вита!*

Вмиг открыла гостья веки, зашевелились губы белые, алым наполняться стали, зарумянились щеки, привсталла и улыбнулась улыбкой девичьей, будто помолодев на двадцать лет. Еще больше засияло лицо благородное, еще больше свет внутренний озарил все вокруг в избушке залатанной. И от радости открыла свои объятия теплые материнские для несчастной бедняжки Радужки, не помнящей себя от счастья, что ожила княгиня от ее магии.

— Не держу зла на тебя, девонька. Больше прошу: стань мне дочерью родною. Буду любить тебя как свою, станем мы тебе покровителями верными, семьей единородной. Конец злу.

Обнялись всей семьей и малышкой расцеловали, что тише воды, ниже травы все это время сидели, слезки горькие глотали от раз-





вернувшейся картины. Да такое счастье навалилось, что никто внимания не обратил, что ножки Радужки так ветками да корой остались.

— Прости, государыня, — обратился Кирилка, мальчишка-заступник к благородной гостье, — у Радужки нашей мечта есть заветная. Не озлобись выслушать, матушка, — ропотно ожидая ответа, смотрел слезно в глаза.

— Говори, мальчик, для Радужки, для дочки моей нареченной ничего не жалко. Все, что в моих силах — сделаю! — Погладила Кирилку нежно по чубу русому княгиня.

— Завтра на капище святом в Аркаиме празднество большое случится: расцветут черешневые сады, которые по верованиям чуда творят, хвори и болезни прогоняют. Свези Радужку на праздник. Авось, и она оздоровится, — вещал мальчик.

— Сама на капище собиралась! — воскликнула радостно женщина, — вот ведь чудеса! Конечно, поедем! Конечно, в черешневых садах помолимся, божественному аромату внимая, чтобы боги росные вернулись и прекратили печали и горе на Земле-матушке.

Ох, и счастье привалило в дом! Ох, и нельзя было его измерить ни вышиной, ни шириной. Все плохое в раз рассеялось, будто и не было его. Открылось сердце для всего хорошего!

Старший из братьев, словно пушинку, Радужку на руки поднял, нежно на плечо усаживая, сестры-лебеди собрали бедняжку. На том стали прощаться.

И как больно, как ни печально было детишкам Радужке слова прощальные говорить, слезы, однако, счастливые за нее капали. И обещала девушка вернуться в деревню на своих ногах однажды с подарками и с новостями хорошими.

Счастье уже настало, веселой радугой в жизни Радужки расцвело. Да только сказка еще не кончается, и счастьем конца не бывает. Бесконечное оно...



## Часть вторая

### Пуп Земли-матушки. Великий Аркаим

Издали цветы ароматные благоухать начинали, призывая народ честной прийти на диво полюбоваться. Садись люди под волшебными деревьями и дивились красоте необыкновенной, игре чудесной звука, цвета и аромата. Семьями сидели, парами, поодиночке... Каждый про свое думал. Черешневый сад будто очаровывал, душа взлетала далеко и возвращалась отдохнувшей, окрыленной, полной сил и радости. Уже этого много было. С мыслями-то добрыми все в жизни налаживается и так просто. И семью крепкую сильнее делает, и на любовь настраивает, и на дела благородные вдохновляет.

Стремилась многие к капищу, в пуп Земли-матушки прийти, силы животворной черпнуть. Много людей приходило: разной веры, разной наружности и достатка с мировоззрением, но всех одно объединял: не забыли они ее заветов единственно верных — любить и уважать все вокруг.

Жрецы уважаемые каждый год со всех весей несли знаки земель своих, дабы разбудить Древних Богов, братьев чудесных. С северных земель Орлов в летках свозили и на волю в небо отпускали, в честь старшего брата, Мудрого Орла. С востока диких медведей на поводках приводили и свободу в лес давали в честь среднего брата, Сильного Медведища. С черных земель везли царя тех мест, Благородного Тигра, и становилась земля яркая и сильная от его присутствия. С южных далеких земель везли скакунов быстроногих, в честь брата меньшего, Быстрого Коня, и на волю войско отпускали, чтобы прижилось на местных полях.

Собирались великие правители, приносили пожертвования и Старшей Сестре, прародительнице зла и горя, что при рождении Змеей с шестью головами обернулась. Несли кожу змеиную, аспидов всех мастей, ибо все в змее мудро, сильно, благородно и ловко. Недаром она в споре победила. Складывали приношения у большого холма, где братья вечным сном спят и просили-кликали Старшую Сестру вернуться покаяться, в лоно семьи прийти. Старших братьев





проснуться и порядок навести, чтобы жила общая Мать в покое и мире, как раньше.

Поднимался с утра ветер-ветерок, разносил повсюду ароматы черешневого сада, играл с лепестками розовыми, побуждая сознание и сердце к созиданию и лицемерию прелестей Земли-матушки. И зову внимания большими толпами шли люди поклониться холму, сердцем проникаясь к прекрасному. По дороге кланялись друг другу, представлялись, обретали новых знакомых и друзей. Порой пары создавая по зову сердца и общим интересам, порой к решению какому-то приходя, благодаря совету дельному, собеседником брошенному. Одним словом, чудо было везде и повсюду.

\* \* \*

Прибыла и благороднейшая семья далеких лесных земель, что славятся людьми сильными, рослыми и красивыми. Лошадей надобно было оставить у ворот, а дальше пешком идти. Братья по очереди Радужку несли на плечах, и каждому она за это доброе слово говорила. По дороге с матушкой нареченной обо всем беседовали, про прошлое много девица рассказывала, про жизнь свою несчастную, про мать, отца, про быт. Но не омрачалась более княгиня добрая, только радовалась, что история старая хорошо закончилась: все живы-здоровы, радостны и надеждой полны, а лепестки розовые черешневые летали вокруг, ласкали взгляд да обоняние, подтверждая чудесное.

Сестрицы болтали меж собой, залиристо смехом переливаясь да прохожих красотой и станом дивя и радуя.

Стали ближе подходить к огромному холму. Да то оказался не холм земляной, а камень преогромный, на котором город уместить можно было. И люди его змейкой обвивая, вперед двигались, чтобы поклониться святому месту. Тяжелая эта была дорога. Да только никто не толкался и не жаловался. Великое не просто.

И наша досточтимая семья в праведную очередь встала, чтоб на холм каменный подняться, своими глазами взглянуть на место рождения всего живого.

Тут и действо началось. Собрались все жрецы главные из ста разных мест, далеких и близких, встали в круг, цепью взявшись, и го-



лосом дивным, наречием древним, возведя руки в небо, стали звать Старшую Сестру. Просили опомниться, забыть старое, покаяться и соединиться воедино, миром правя, творя добро и справедливость. Содрогались камни заповедные от ритуалов святых, зажглись огни возвышенные до самых небес.

Час за часом громко зывали, рассказывая историю сотворения мира, из уст в уста передаваемую. Даже сердце человеческое понимало, слушая и внимая речи волхвов, как надо жить, где пределы зла и как добро в себе взрастить. Такая была притча, что ни одного слова не выкинешь, и всем понятно, и большим и малым.

\* \* \*

Как стали кликать в первый раз — побледнела Радужка, воздух надрывно глотая.

Как ударили в барабаны звучные во второй раз — руки-тело судорогой сильной свело.

А как в третий раз имя Старшей Сестры произнесли — так и во все потеряла разум юродивая, чувств лишаясь.

Забеспокоились матушка с сестрицами да братьями, приникли к устам бледным родимой:

— Что случилось? Что не так? Аль беда возвратилась?

Задышала Рада часто-часто, будто забредила не своим голосом:

— Несите быстрее туда, меня кличут.

Изумились братья, разинули рты сестрицы, только матушка внимательно посмотрела на Радужку, помня колдовские речи дочери нареченной, что всякому колдовству есть цена и конец. И узрела, как кора сердца девичья дотронулась, в сухую шепку превращая.

Взмахнула властно рукой, посмотрела взглядом своим мудрым проникновенным, от которого люди в преклонение впадали, чувствуя силу да правоту, и приказала одним лишь взором расступиться.

Вмиг сыновья собрались, вмиг вдоль процессии стройным строем выстроились, девицы-сестрицы, без слов мать понимая, взмахнули платками расчудесными и, с добром поклонясь, попросили людей разойтись, ибо дело было важное, не терпящее объяснений.

Ну и как от княгини внутреннее свечение благодарственное распространилось по округе, так и так все расходиться стали, сердцем чувствуя справедливость.







Общее сердце было у детей Матушки-земли, в унисон билось одинаково, все понимая, все прощая.

\* \* \*

Подошли к кострам священным, что к облакам поднимались, да там и остановились. Не было входа в круг, только через огонь. А как проникнуть, не сгорев от языков пламени, никто не знал.

Опустили юродивую сестру на камень холодный, в заботе смотря, что дальше делать.

— Послушай и поверь мне, матушка, мое сердце никогда меня не обманывало. Ему верю. Зовет меня туда, — облизнула сухие губки юродивая. — Будто мое имя произносят, и каждый раз ножом по сердцу. Если не вернусь — прости меня за все, что не так было. Ничего не могу ни прибавить — ни отнять от того, что ты и так знаешь, — и вздохнула тяжело красавица, горькие слезы роняя, боясь больше со счастьем своим не увидиться.

Зарыдала благородная матушка, рукою рот прикрывая:

— Верю тебе, как себе, родная. Делай, что душеньке заблагорассудится, не судья я тебе. Да и знай отныне, никогда я зла на вас не держала, всю жизнь верила, что все хорошо кончится. Так что не за что мне тебя прощать. Делай, как знаешь, любовь моя.

Утерли слезу и расступились вокруг юродивой, из последних сил снимая покрывала, матерью даренные, серебряными нитями вышитые, обнажая струпья, кору и ветки осиновые ниже пояса, змеей уродливой стала вползать в круг огненный до небес разожженный, где стгорало все чистое и нечистое.

*Вельми телище богати  
Куро-слове вече-пришло  
Отвори твоя обрата  
До— детища, до-детища,  
Зачерви Чудово обро  
Обронища на кострища  
Обрати коры в живица  
Вита — флори! Вита — орни!*



## Часть Третья.

### Возвращение Старшей Сестры Премудрой Явись Радужной

Вся семья, за руки взявшись, воле высшей отдавшись, помолилась за новообетенную сестру и дочь, Радужкой званную.

Огонь съел ее тело уродливое, корой черствой осины покрытую, придавая все жару и пеплу.

Да только не видели благочестивые, что вползая в круг священный, стало ее тело болезненное преображаться: от каждого языка огнища воспламенялось дерево, скукоживалась кора, испепелялось черствое, кожей девичьей проявляясь, будто по колдовству.

И вползая в круг, не тронутая стихией, изумила почтенных жрецов в порыве божественном, возвещавшем к богам росным.

Не поверили глазам волхвы, опустили руки, к небу возведенные, и от страха смертного и гнева праведного закричали-заголосили на нее: ибо во веки веков женщинам воспрещалось в священный огненный круг касаться.

Шум от огня смешивал их крики, да только когда Радужка заговорила, смолкло все в мгновение.

— Ну, здравствуйте, мужи великие, достопочтенные. Не меня ли звали-кликали?! Пришла я! — возвестила девица, тряпье обожженное с себя скидывая, белые косы расплетая, которые падали к ногам шелками из золота.

Обернулись все сто великих выборных друидов мудрейших, лаокоонов светлейших, оракулов вещей с бородами мохнатыми до пола да посохами вековыми и обомлели от дива сверхъестественного.

Стояла перед ними живая, через огонь пожирающий, малая девица-красавица с лицом юным, белым, нагая и прекрасная, будто русалка речная. Да только чувствовалось в теле молодом да в голосе тонком сила невиданная, каких никто еще не встречал. Опустили руки, перестали вешевать, прислушались.

А она косы расплестать закончила и, наконец, посмотрела на достопочтенное собрание. Так глянула, будто каждому в душу посмотрела.





И увидели мудрейшие взор ее настоящий — зеленых глазюк чудовища змеиноного. Посмотрела чертовка и пальцами тонкими в воздухе огненные знаки рисовать стала. Знаки сакральные, секретные, где имя ее сокрыто было. Шесть голов, шесть хвостов посередине сомкнутых в кольцо бесконечное, вдруг в крест собирались и по солнцу развернулись, пасти змеиные разевая.

Онемела братия, окоченела от древнего волшебства и на колени пала. Улыбнулась Старшая Сестра:

— Узнали, значит... Не бойтесь, люди, с добром пришла. Настал день, настал час долгожданный моего возвращения и вашего от меня освобождения.

Оглянулась вокруг змейка-девица и в лица давай всматриваться:

— Кто из вас главный из всех. Кто судить меня будет?

Долго молчали, долго советовались, и выступил самый сильный, самый мудрый, самый великий правитель объединенных земель, среди соратников хоть и был самым молодым, да самым прозрелым считался. Ему доверили. Смело вышел, ясным взором глядя:

— Со мною говори. Я в ответе за всех.

— Храбрый муж, богомудрый жрец, — выговорила на древнем языке нагая девица с глазюками змеиными, — а почему среди вашей братии места ни для одной сестрицы не нашлось?

— Только мужи законы в руках держат, силе разума доверяясь, — отвечал молодой волхв, кулаком показывая, где сила хранится.

— Матушка-земля пророчила каждому по паре найти, будь то царь, будь то пахарь. Ибо нет силы в разделенных частицах ее. Только так истинную силу человек обрести может и смысл жизни постичь. А в твоём кулаке пустота, братец меньший, — хитро улыбнулась девица и языком раздвоенным, будто ремешком кожаным, легко руку молодца скрутила — кулак разжался, пустоту обнажая.

— Женщины слабые да корыстные, мужи сильные да правдивые, — отвечал благородный жрец, лицом потев от магии черной.

— Земля-матушка женщиной была, вас правдивых нарожала бескорыстно, — смеясь, продолжала разговор девица.

Нечего было ответить жрецу, да другие не смели возражать.

— Пришла не судить вас. Сама матушкину благодать забыла и потеряла дар ее божественный во благо и на радость жить. Столь-



ко зла натворила от забытья, на такие мучения душу свою обрела, сама только знаю. Да страшнее судьи, чем сам себе, не придумаешь. Все зло, что в мире творится, — про него все ведаю, ибо сама его придумала и на себе испробовала, каждое по отдельности и вместе всех взятое. Да вижу, и вы недалеко отстали от меня.

— Премного зла на земле, — соглашался жрец.

— И мне грустно от того, брат мой меньший, вина на мне превеликая. Поэтому слушай меня и повинуйся, — и повела руками по оси вокруг себя, гася огонь священный, — Запомни: отныне и во веки веков только женское сердце Акраимом править должно, сердце Земли-матушки. Только оно, материнское, может почувствовать стремления детей своих, только оно может совет верный дать и дорогу нужную указать, несмотря на выгоду собой пожертвовать во имя любви.

Погасли огни на каменном холме одним дуновением, хоть разжигались до того целой ночью, и увидели все сто жрецов, как сияние исходит не из круга, а подле него, от женщины одной на лик и одеяние, на стан и на взор благородный — княгиню похожую.

Обомлела матушка, удивилась чуду, оказавшись в центре священного круга среди наимудрейших рода человеческого, да только когда Радужку, дочку живую, невредимую на своих двоих нагую и красивую увидела, так и вовсе чувств от счастья лишилась. Да вовремя главный апостол на руки свои крепкие княгиню подхватил, уважительно поддерживая.

\* \* \*

Не зря на капище в день сей великий лишь наимудрейших старейшин призывали, вмиг поняли старцы, о чем речь ведется, и всем миром поклонились, а за ними весь люд собравшийся. Видели: явилась перед ними во всей красе та, которую тысячу лет звали Явидь Радужная Волшебница Лучезарная Гадина Поганая Любимая Старшая Сестра Росных Богов и Наимудрейшая Старшая Дочь Земли-матушки.

И склонились в поклоне, челом оземь касаясь, что вовеки служить будут, полагаясь на мудрость и справедливость женского сердца.

Подошла Явидь Радужная Змеюка Поганая к главному жрецу, положила руку ему на сердце и сказала:





— Ты сильный муж, толковый правитель. Возьми в жены красивейшую из женщин, умнейшую из жен, любящую и верную матушку мою нареченную. Люби ее и поклоняйся ей как Земле-прародительнице, а в ответ она тебе поклоняться станет как своему властителю. Так любовь и обретете, а в любви счастье познаете и поймете, как дальше жить, и другим покажете на примере своем.

Не стал никто спорить и роптать. Склонил голову правитель молодой, осел на колени и руку крепкую княгине протянул.

Зов сердца, если он верный, сразу слышен становится. Улыбнулась она в ответ ему и свою руку подала. Всмотрелся он в лицо ее благородное, сиянием чудесным женственным полное, и чуть не заплакал оттого, как же раньше один жить мог без красоты этой божественной.

Обнялись и крепко расцеловались.

— Благословляю Вас на все хорошее, что в мире имеется. Живите и радуйтесь. Верьте во что душе верится, делайте, что нужным посчитаете; создала вас наша Матушка разумными и волей свободною одарила. Не забывайте лишь каноны единственно верные для всех существ на земле. Ну, а теперь, братья и сестры мои, разойдитесь. Моя пора пришла долги раздавать. Долго я по миру искала покоя, да только у матушки нашла потерянное. Вот и ко мне пусть все зло вернется, что натворила я за столько лет, — возвела руки вверх нагая девица и воскликнула, — проклинаю всех, кто черным силам моим поклонялся ради горя других! Арась!

Стали люди добрые расходиться подальше от каменного холма, но оставались у подножия, чтобы на магию тысячелетнюю посмотреть. Как зло ко злу по кругу неминуемо возвращается.

Одна лишь девица на холме осталась, слова древние в вышину неба крича. И каждый ее слышал, будто она прямо в сердце кричала.

Призывала Старшая Сестра всему злу на земле собраться и вернуться в лоно, его породившее. Прийти и покаяться. Ибо нет ему больше места здесь. Другое время настало. Человеческое. Волшебство с колдовством, с проклятиями и зверствами прежними отжили свое. Арась!

Заволновалось общество, задрожали ряды, будто из-под земли кто-то подталкивать стал.



И неожиданно две-три бабки старые седые с космами юродскими вверх взлетели, будто по волшебству, крича голосом диким, нечеловеческим.

А ветер все усиливался, по небу их кружил окаянных. Хотели сначала мужики крепкие поймать юродивых старух, да как схватили их за ноги-руки, как взглянули им под космы, а вместо лица — мертвечина змеиная с двойным языком шипит пузырями.

Колдуньи с черным сердцем, вот кто они были! Креатуры Явиди Гадины Поганой! До старости дожили, детей в лоне матери умершвляя, мороки на честных людей наводя.

Поднимались вверх, визжа и шипя от ужаса, и будто о невидимую стену разбивались на черный дым, а молодая девица-змея в себя его носом втягивала.

Страшное творилось с телом Радужки. Всю боль, всю злость, все дела черные чувствовала, видела, прознавала, через себя пропуская, и росла на глазах, чешуйчатым сафьяном покрываясь.

Жутко было на такое смотреть и тяжелее всего слушать. Ибо коли у кого в сердце черное припрятанное было — отзывалось оно на призыв основы своей, наружу гноем черным вылезая.

— Призываю сердца черные, светом не тронутые, возвратитесь к матери своей проклятой. Нету места больше вам на земле, — и как закричит, аж в ушах шум нестерпимый дребезжит. — АРАСЬ!

И бежали люди, страхом подгоняемые, да замертво в бегу падали. Ветер сильный тела их в вверх поднимал и все равно в дым черный превращал, отчего Явидь Радужная разрасталася, сильнее становясь и телом, и голосом, и мощью.

Из-за леса, из-за гор поднялись крики колдунов и ведьмаков всех мастей, до которых звук волшебной змеи долетал. И против воли волокло их в Аркаим на каменный холм.

Со всех концов земли летела сила нечистая, ором орущие бесы и демоны, кто с четырьмя руками, кто с двумя головами, кто с костяными ногами, кто в ступах, кто на метле, кто в гробу, кто на свинье, да все на одно лицо треклятое — змеи поганые, что за сердцем злобу таили, живое жрали, детей морили, реки-леса портили, на погибель других людей посылали. И не было предела этому явлению. Небо черное стало от врагов дьявольских человечества.







Будто мошкара на свет слетались, карканьем воронов подбитых вереща, против воли своей в черный дым разметаясь.

— Ох, и разрослось зло, сердцами человеческими прикормленное... — шипела Явидь Поганая, ядом смертоносным клыки кровавые облизывая, дивясь на множество детей своих уродливых, лишь отдаленно людей напоминающих.

И всю ночь летели креатуры безобразные в лоно матери, их породившей, звезд и неба не видно стало. А к утру разрослась Явидь Радужная Волшебница Лучезарная Гадина Поганая до размеров превеликих, сама с холм тот стала, что выше вышнего возвышался.

Огромная, монолитная, чешуйчатая фигура ее с ликом змеиным безобразным до ужаса страшным с пастью чудовищной в рыке разинутом предстала перед людом человеческом во всей красе своей.

Вот какую монстру Земля-матушка породила первой — старшую дочь свою премудрую Явидь Лучезарную.

\* \* \*

И как собрала все грехи свои Явидь, как воедино капелька к капельке соединилась, разделилась голова ее престрашная на пять частей, и каждая в поклоне к матушке родной обратилась голосом своим, зловещим для уха человеческого, прося:

— Здравствуй, мать моя Земля-родица. Это я обращаюсь к тебе, дочь твоя старшая. Родила ты меня самой умною, самой красивой, одарила по-щедрому, все секреты раскрыла мне, да я их опоганила... Думала, умней тебя буду, найду свое и без твоей помощи, выше тебя стану. Что не нужна ты мне. Да ошиблась. Пришла-вернулась к тебе после дороги долгой, безуспешной — ничего у меня не вышло, матушка. Все, что имела, все растеряла. Зря ты меня породила, зря кровь свою на меня потратила. Одно зло с меня ядом капает. И сама знаю, что вина вся на мне.

И заплакала змея слезами горькими, а те в воздухе стали в камни прозрачные превращаться да оземь, на пыль сверкающую рассыпаться, людям в руки звездами оседая.

— Прости меня, глупую дочь твою. Знаю, не вернуть то время радостное, не вернуть те связи прежние, не возвратиться участие твое благодное. А без него мне этот свет не мил.



И увидели люди, гляючи на змею окаянную, что вместо образа монстры драконовой, сидит девушка преклоненная, голову отчаянно склоня и плача неистово, руками лицо закрывая, раскаиваясь.

— И хоть братьев своих не увижу я, забери меня к себе назад, матушка. Пожалуйста. Нет мне больше места на свете белом. Кровь мою черную разнеси по миру: всем кому зла от меня досталось — пусть им удачу и достаток принесет. Иду к тебе!

И головой великанша взметнула, золотые волосы могучие оземь черной жижей ударились, и реками-змейками по траве загустились, в разные веси заструились, меж лесов и полей во все стороны, на ходу все живое облагораживая.

И вся помаленьку потихонечку растворилась с холма в водопаде животворящей черной влагой Явидь...

\* \* \*

Долго ли коротко ли, вздымился холм каменный белым дымом, затрясся изнутри, оживая.

Ахнули люди честные, неужели дождалися?

Дрогнуло капище, затрясся пуп земли и, словно по волшебству, вылетели из него четыре громадных яра, на воздухе вольном превращаясь в братьев-великанов, в древних богов, от которых человечество себя считать стало.

Первым старший брат появился, великан по пояс с торсом человеческим, а вместо головы — башка Орлиная Белоголовая. Распрямился и на ноги встал средний брат, по пояс тоже молодец, да с головой Медведища Бурого. За ним силищей скрипнув, вспрыгнули два остальных с ликами Тигра чудесного да Коня знатного.

Увидели друг друга, обнялись крепко после разлуки долгой, сели наземь и давай радоваться вновь жизни полной, изменениям чудесным, роду людскому.

Люди от мига счастливого, себя не помня, к богам на поклон пошли, обступили, будто муравьи великанов, детей Матушки-земли, не могли насмотреться благородству их дивному, лику расчудесному да сходству верному. Четыре брата тоже диву людскому давались да премудрости матушкиной, что разрешило потомство иметь да семьей плодиться мурашкам.





Да только встал Орел, первый из братьев, и давай Сестру Старшую кликать. Кликал-кликал — не ответила. Взлетел высоко в небо, облетел землю, не нашел Явидь Лучезарную.

Рассказали люди богам свои росным, что случилось, да как жизнь текла тысячу лет, пока они спали.

И от услышанного впала в раздумье братия.

Посовещались, встали на ноги и обратились к Матушке да к людям:

— Время наше волшебное ушло. Не та уже земля, не те уже времена. Да и зло навеки покинуло эти края. И тут Сестра Старшая узрела раньше, опередила нас. Без нее милой жизнь — не жизнь, ведь, как говорено было, счастье наше только в совместном проживании, ибо никого нет родней.

Забери и нас тогда, Матушка, к себе в лоно твое дивное. Забери и навеки упокой в объятиях материнских. Ну, а кровь подари потомкам человеческим, пусть во благо пойдет да на процветание.

Идем к тебе!

И как давеча Сестра Старшая, обернулись братья божественными ручьями, оземь ударяясь, в анналы материнские уходя. Теперича навсегда.

\* \* \*

Долго еще люди не расходились, долго думали про себя, про богов росных, про Матушку-землю, про горе, про радость, про счастье, про заметы священные. Да только счастье да работа ждать не будут, да и детишек кормить-поить надобно.

Стали расходиться, к новому миру и порядку привыкая.

Собрались волхвы с четой князей на самом пупе земли, откуда мир появился, поклониться в последний раз и илти законы с делами творить, коим их боги научили.

Поклонились, условились каждый раз Новый год здесь справлять, чтоб не забыть Былицы этой сказочной, но по правде произошедшей.

Уходили с сердцем, полным радости и умиротворения, лишь княгиня, обернувшись в последний раз, вдруг заметила, что из самой из расщелины, что размером малым, дымок белый пошел. А в другой



миг показалась головка с кудрями золотыми девичьими. А в третий миг услышала чудесное — голос дочери своей маленькой:

— Матушка!

А за ней мальчиковый послышался:

— Мамушка!

И вторая голова показалась, парнишки золотоволосого.

Побежали ребятишки, голося, в распахнутые объятия материнские.

— Мамка! — кричал малый, что третьим лез из расщелины, и тоже топтыжкой посеменил к родителям.

Расплакалась матушка-княгиня, растрогался отец-князь. Неисчерпаемы пределы Земли, безграничны подарки ее, обильна и щедра любовь к детям своим. Счастье бесконечное...

— Мама! — завопил еще трепетный голосок, пухлые щеки выпячивая из-под камня.

Ну, а за последним лезть пришлось, что годовалым «Ма» позвал.

— Спасибо тебе, матушка, спасибо за доверие твое, — поклонились родители, — обещаем, воспитаем детей твоих, всю любовь и силу даря, уму разуму уча, чтоб знали только хорошее и добром добру платили всем и каждому.

## Конец



## Жизни начало или Слеза Зари

**С** утра встали, помолились и пошли на двор по хозяйству. Петухи только-только на забор взлетели, горло свое прочищая для славного предрассветного пения. Картина дивная предстала, ибо краше птицы гордой только фазаны лесные, что на опушки леса выходят танцевать по весне, распуская перья медные, не боясь охотников.

Заря Милославна, достав самый красный платок из запасов своих богатых, повязала его на юной и красивой голове старшей дочери Малины Филипповны, поцеловала ее в затылок нежно и усадила корову доить, присматривая. Да присматривать было зазря, ибо девушка доила Дочку умело и любя, будто всю жизнь это делала.

— Молоко с коровы брать надобно только поутру, — тихо вещала Заря Милославна.

— Да знаю я, матушка, — обернулась дочка, — не беспокойтесь. Все помню. Телятам первоочередность, а потом уж люди. Да я и не ем молока, как и вы. А коли муж богатый попадетсЯ да возьмем подмогу, не беспокойтесь, не забуду науку эту. Такое вряд ли забудешь, уж больно приятное занятие с животными возиться.

И продолжила доить кормилицу руками своими шустрыми и умелыми.

А Заря Милославна, в сторону вздохнув, слезу сдержала. Уж больно день сегодня был волнительный, любое действие чувства нежданные слезливые вызывало.

Пока доили, почуяли, что банька готова: разнесся аромат деревянной, душистый на всю округу. Отец, значит, встал уже и за работы принялся.

Вышли к речке на зарю алую поглядеть, в честь которой матушку родители назвали. Поглядели-полюбовались заревом пылающим, который каждый день мир радовал и силу людям дарил, кому не лень было в сей ранний час подняться. А гляючи на речку Вихрю Могучую, которая змейкой домики резные симпатичные огибала, вся в пару да дыму от банек, натопленных в день сей праздничный, все-таки пустила слезу Заря Милославна, за руку ласково дочку беря, а дите юное на матушку плачущую глядя, тоже разревелось. Так уж устроена женская душа, видя слезы родительницы, сердцем сжимается и в унисон тоже плакать начинает, причем от счастья или горя — не важно, главное — дружно и сердечно. Так и пошли в натопленную баньку, за руки взявшись.

Вошли в сени, разделись и давай воду колодезную пить. Ох, и приятно утречком после сна сладкого воды чистой напиться, только что набратой из источника. Во рту вода аж звенела, переливалась, язык да зубы покалывая, будто серебряными иголками точа.

Попили, не торопясь, и давай друг другу косы расплетать. Приятное это занятие женское, когда матушка головы твоей касается, песню дивную напевая. А матушке как приятно, когда руки юные умелые зредую голову трогают, и так же нежно на половинки с чет-вертинками локонами укладывают на плечи все еще молодые, однако опыту хватившие.

— Ну, с Богом, — вздохнула Матушка тяжело, на что дочка взрослая улыбнулась легко, и вошли в горячую.

Святое это место — Баня. Здесь семья купается, усталость да грязь смывая, душой освежаясь. Здесь хвори телесные лечатся зимой и летом одним лишь ароматом лесным да умением врачевать, телом обновляясь. Здесь и уединяются, коли решение серьезное принять







надо. Здесь и любовь любитя вдали от ненужных глаз, никому не мешая. Здесь и роды приходят, для семьи благословение, в чистоте да тепле для здоровья роженицы и дитя. Здесь мать с дочерью уединяются перед праздником большим, выходом в невесты на всеобщем празднестве. Уединяются, чтобы рассказала матушка своей дочери, что значит женою стать, как себя вести и хранить, как мужа любить, как детей рожать, хозяйство блюсти, как с соседями жить и с друзьями дружить в мире и гармонии, со всем и каждым, и с собой. Что можно, что нельзя да секреты свои, за жизнь накопленные или другой матерью переданные.

Необычный день был сегодня — Предновогодний.

Убрали поля, собрали богатый урожай, потом и трудами достигнутым — пора и отпраздновать хороший год и поблагодарить Землю-матушку квасом хлебным, вином терпким да настроением своим радостным. И выходило на месяц этот славный золотой новое создавать: пары да семьи, мириться и объединяться, совещаться, как зиму пережить, ну и просто радоваться по-соседски, по-людски.

Накануне этого большого праздника перед самым Новым Годом, на самом «на носу», как говорят в народе, собирали матушки своих старших дочек и уводили в баню на долгий разговор, на мытье да на вразумление. А отцы, в свою очередь, брали в баньку своих старших сыновей за тем же самым. Рассказывая да поучая.

\* \* \*

Для начала разлеглась Малинушка на скамье кедровой для омытия. Убрала матушка бережно волосы ее светлые дивные, что водопадом золотым на полы деревянные раскинулись, взяла мочалку-сребок и давай намывать со старанием, как в детстве, девицу свою старшую. Намывать да восхищаться красотой ее неписаной, которую сама и породила.

— Знаешь, Малинушка, в быту да в заботах не было у меня совсем времени тебе сказать, как люблю я тебя крепко. Ведь ты у меня самая первая, — сказала и опять заплакала.

Взбудоражилась девица, повскакивала со скамьи и в теплые объятия матушки упала с рвением.

— Не плачь, мамушка. Так плачешь, будто мы с тобой прощаемся. Знаю, что любишь! И я тебя люблю без памяти! Больше всех



на свете! Какая ты у нас — ни у кого такой нету! Никогда тебя не брошу! Жениха так выберу, чтоб только рядом с домом, чтоб тебя и семью видеть каждый день. И полюбит тебя и батюшку, как меня. Иначе и не быть вместе, — зататорила растроганная девица, глаза васильковые ланьи росой наполняя.

— Это только Бог знает, куда тебя занесет, — всхлипывала Заря Милославна. — Но я не только поэтому растрогалась. Вспомнила, как ты у меня появилась, личонько твое раскрасивое, будто из сказок волшебных на меня воззрилось, и с тех пор жизнь моя круто изменилась. А вот уже день настал, когда я тебя в невесты готовлю, — вновь уложила дочку на кедровую скамью и давай пенить мылкой-мочалкой душевно. — Потом мне вспомнилось, на тебя глядячи, как меня матушка намывала когда-то, слезы роняя. Вспомнила и нашу с ней последнюю баньку, и как все повторяется поочередно неостановимо. А ведь как вчера пронеслось, — и руками показала, как года быстро-быстро перед глазами пролетели. — А ведь было это давным-давно, и тоже не верилось, что всего столько впереди пережить и узнать придется. Казалось все простым и ветреным. — Вздохнула уже легче. — С другой стороны, смотрю на тебя, сердце мое, и понимаю, что вся жизнь моя до вас будто сном прошла. Спала крепко беспмятно, а проснулась только с вами. Век мой отсчет начал только с появлением тебя первой и продолжился счастьем большим под крылом отца твоего в тепле совместного проживания в нашем доме любимом. Потому и расставаться жалко. Ходило мое сердце гуляло да под присмотром, а теперь — побежит, резвясь, куда жизнь понесет без моего дозволения. А возможно, и без помощи и совета своевременного в нужный час... Хотелось бы мне, чтоб опять ты в девочку назад превратилась и на колени мои присела, молоко всасывая.

Улыбнулась Малина-голубушка матушкиным причитаниям, встала и усадила родимую на скамью, сама присела к ней на колени, как той грезилось, и голову русую на шею белую сладкую мамину уронила нежно.

Обняла матушка взрослую дочку, словно девочку и давай ее улюлюкать, как в детстве.



Знали обе, никогда этот момент волшебный более не повторится, потому не торопились, блаженствуя. И текло время медленно, угождая...

Как от матушки пахло, так никогда ни от кого пахнуть не будет. Да и мамушка со временем состарится, ссушится, потеряет этот аромат медово-молочный навсегда. Уже не посидишь на ее коленях стройных, сильных, не почувствуешь себя слабой и укрытой со всех сторон заботливыми объятиями. Знала это Малина-голубка, хоть девочкой в уме еще была. Что для человека семнадцать лет? Легкий ветерок ветренный...

Ну, а когда наобнимались-нанежились, уселись вновь мыться-париться. Да и жар, что отец натопил, ушел чуток, приятнее дышать березой парной стало.

Парила матушка Малинку, лечила ее прикосно-вениями своими и одновременно учила девочку. Придет время ей самой лечить мужа, детей ли, родню, а прикосновения да беседа — лучшие лекари. Вот запомни: там надавить, здесь хлопнуть, так отшлепать, там локтем пройтись, ну а потом венником свежим распаренным, словно медом, смазать все сверху. Ох, и приятное это занятие лечить да лечиться! Лежала Малинка и слово не могла вымолвить от удовольствия. Матушка ее знатная банщица была. Отец и дети любили прикосновений ее медовых отведать. Хоть каждый день. Рука у нее была легкая на такие дела.

Малинка хоть и распаренная да вареная, как свеколка сахарная, лежала, да гляючи училась, что по чем да почему. Глаз смотрел, уши слышали, руки привыкали. Так матушка ее отчеканила, так отстукала, яблочком наливным, красным да блестящим, себя девушка почувствовала. Даже мысли боязливые от предстоящего Нового года прошли. Только одно чувство осталось — ожидание чего-то волшебного.

\* \* \*

Присели после мойки знатной, отдохнули, и тепе-реча Малинка наученное на матушке опробовала. Омыла родимую и давай мять от души. Матушка женщина сильная была, хоть на вид и хрупкая, да любила крепость во всем.







Пока пробовалась, Заря Милославна советы давала, где поднажать, где сбавить. Так и научилось.

Вышли после жары в предбанник и видят — пенный квас да пирожки с капустой ожидают. То значит, сестры малые уже проснулись, принесли перекусить родным. Попили и поели от души. Вдохнули сладостно. Давай дальше разговаривать.

— А вдруг на меня никто не посмотрит завтра? — лукаво задалась Малинка.

— Еще при покосах десять сватов приходили про тебя узнавать, — гордо заметила Заря Милославна, — местные и соседние женихи. Красавица ты писаная, Малинка! В первых рядах возьмут. Не сомневайся! Другое главное, что ты скажешь, кого ты выберешь, — серьезно сказала женщина, на подушках в сених сладко развалившись.

Подивилась Малинка в очередной раз красоте своей матушки и загордилась в свою очередь. Большая деревня, хорошими людьми полная, на дальнюю округу слава идет о том, что добрые люди здесь живут, мастерству разному умелые, традициями верные, здоровьем сильные да женщинами красивые. И матушка — одна из первых основоположниц этой славы доброй. Даже с других сел порой приходят на нее подивиться, совета спросить, помощи попросить или благословения. Знают, что никому не откажет, чем есть поможет.

А кто в настоящих друзьях у семьи ходит — гордится таким знакомством высоко. Ибо кто матушку с батюшкой знает, кого они, как друга привечают — тот никогда не скучает. Верят люди, что раз Бог создал семью такую верную, благословил на дела щедрые, значит, добрый тот Бог и все хорошо на земле будет.

Засмотрелась и загордилась Малинка корнями своими благородными, а в душе поклялась хоть чуток на мать стать похожей в будущем.

Внимательно Заря Милославна на Малинку всматривалась, будто будущее завидев: мало того, что раскрасавица, так и характер Боженька отцовский благодушный и распорядительный подарил. Никак ей — суетной, беспокойный и мнительный, что полжизни первоначальной приходилось усмирять да совершенствовать. Значит, легче будет по судьбе Малинке-голубушке идти: мужу подчиняться, детей воспитывать, с друзьями-соседями дружбу водить.





— Страшно тебе, Малинка, отрываться от нас? — спросила родительница.

— Страшно, матушка, — честно ответила девушка и в окошко на небо синее взглянула. — Вроде хочется вперед бежать, да вдруг обожжется... А остаться — на одиночество себя обрекать, а вас — на горе.

— А чего больше всего боишься?

— Как мне человека выбрать и не ошибиться, да так, чтобы на всю жизнь? Вижу я вокруг, вот хоть бы Стерегины да Куликушкины не прожили и пяти лет под одной крышей, до сих пор, увидев друг друга на улице, разворачиваются в обиде страшной. Веселушкина овдовела, потеряла вкус к жизни со смертью супруга. Времянкин жену не уважает, на-показ себялюбиво живет. У Казынкиных дом сгорел, до сих пор в себя не придет Василиск, горейную пьет, а дети черствый хлеб едят. Как же мне б до такого не дожить?

— Правда это — не придумали зелья такого, которое счастье дарит. Может все начаться хорошо, да плохо кончиться. Может начаться без приязни, а с годами стерпясь, слюбится крепко. Иногда первая встреча дается, чтоб вторую ценить больше. А кому на роду и одиноким прожить суждено. И ничего тут не поделаешь... Нет рецепта единого, доченька, — проговорила Заря Милославна погрузневшей дочери, а потом продолжила:

— Но есть опыт житейский.

Ростили мы с отцом вас в этом опыте многовековом, где говорится, что дитя должно воспитанным быть и порядок знать, но при этом своему сердцу и уму доверяться. Ибо сердце врать не станет, каждый раз тебе подскажет: правильно шагаешь или нет.

Начнутся завтра гуляния... Много людей приедет разных: наших и не наших. Что внимания тебе будет щедрое, даже не сомневаюсь. Устрой наш позволяет тебе выбрать жениха, какого пожелаешь, из любой стороны и любого сословия. Ты невеста знатная, с какой стороны не посмотри: красавица, умница-разумница, из семьи порядочной.

А как выбирать? Открой глаза пошире, навостри уши чутко и молчи побольше: слушай, что говорят да улыбайся. А как встретишь того самого, почувствуешь как сердце из груди вырывается, дышать



не дает. Загорятся глаза, запыхают уши, ноги слушаться перестанут, начнут подкашиваться — ну вот, знай, пришла любовь, — рассмеялась матушка залившимся смехом, видя, что и дочери шутки забавные по нраву прились. И страх разошелся.

— Жаль будет, если чужеземца выберешь и поедешь в чужие края, где нас нет. Ведь любовь, моя милая, как река — стихия непредсказуемая. Петляет, прерывается на ровном месте, потом вдруг из ниоткуда опять появляется, порой разветвляется и заканчивается. Плохо будет — далеко к нам ехать за утешением. Но понимаю я — сердцу не прикажешь. Поэтому первый совет мой тебе — не торопись. Сердце твое юное, жаркое, может страсть за любовь принять. А на то тебе родители любящие под боком, чтобы помочь отличить одно от другого. Ибо счастье и любовь порой порознь идут.

— Я без твоего разрешения и благословения все равно замуж не выйду. Хочу, чтобы суженый мой и тебе понравился. А коли ему ты или наша семья не подойдут, значит и он мне не подходящий, — серьезно сказала девушка, доставая песок речной из-под лавки, чтобы пятки материнские начистить перед Новым годом. И с усердием стала намыывать.

— Здравомыслишь, голубушка. Несчастный тот человек, у кого семьи хорошей нет. Ибо семья — это сила невиданная, и кто не смог найти общий язык с родителями — тот счастье себе и детям своим не хочет. Будут ждаться его только мытарства да испытания. Коли полюбишь такого дурака, сто раз себя спроси: нужно ли тебе и твоим детям такое по жизни? — и проникновенно в глаза мать дочери посмотрела.

— Матушка, не мучайся, знаю я. И сестер горделивых Оболонских помню, что за пришлых князей повыходили, да потом весточки грустные пришли, что из-за ревности покровили мужа иноземные красавиц наших. И Верховных вспоминаю, что нашли мужа богатого да больного, и до сих пор семья мучается виной, что за золотом погнались, — спокойным взглядом ответила Малина.

— Умная ты у меня, Малинка. Вся в отца, — с теплотой погладила матушка голову дочери.

— Ты мне лучше про другое расскажи, — начала девушка. — Вот влюблюсь, замуж выйду, и как же мне любить мужа моего? — и





глазищи свои совиные лукаво на матушку уставила. Покраснела родительница, ждала вопроса этого, готовилась, а все равно врасплох застал.

— Все в тебе так устроено, что для любви приготовлено. Ибо как влюбишься, как на милого взгляд кинешь, все в тебе в нем понравится. Все до последней родинки. Будешь любить и горбинку, и рыжину, и проплешину.

Расхохотались обе.

— Ну, вот скажешь ты, матушка, как водой родниковой обольешь. Какая проплешина?! — пышкнула девушка.

— А что ты отбрехиваешься!? Любовь, моя милая, зла — полюбишь и козла. — И по голове дочери тихонечко стукнула кулаком, играючи.

— А как возьмет любимый за руку, загорится она огнем, и огонь этот на все тело перекинется. Щеки запыхают, во рту пересохнет, так захочется, чтобы расцеловал тебя в губы сладко и жарко. Пройдет время и должно тебе все в нем понравиться: и запах его, манеры, поцелуи, прикосновения, разговоры да привычки. Что не нравится — попробуй по-другому посмотреть, понять. И увидишь, что воспитывался он в другой семье, и у них, видать, так принято. А коли семья хорошая, да хоть с другим воспитанием — все равно плохому не научат. Поэтому так важно не торопиться, и прежде чем узам себя связать — присмотреться. На то в наших традициях срок испытательный выдерживается. Поедем к ним в гости смотреть на жизни уклад и на состав семьи. И вот тут второй мой совет тебе — испытай себя и его. Посмотри внимательно на отца суженого, вот таким он точно в скорости станет, нравится? Или не нравится? Ибо большое заблуждение считать, что женимся мы на одном человеке, а на самом деле, на целом роду. И каждый день придется с этим родом встречаться, здороваться, любить и уважать. А время пройдет, дети народаются, и тут никуда от рода не денешься.

Все ошибки в раз воротятся. Прозрение наступит, да поздно.

— Ты же не оставишь меня? — тихонечко спросила Малинка исподлобья, ноги мамыны омывая после песка и маслом облепиховым смазывая.

— Что ты, дорогая! Я и отец всегда за твоей спиной стеной стоять будем. Вот влюбишься, замуж выйдешь, будете дом свой строить. Поможем



и двор сколотить, и баньку с огородом организовать. Пойдет новая жизнь у тебя, на эту совсем не похожая. Ты взрослая да умелая — справишься. Но жизнь человеческая порой на погоду похожая, гром среди ясного неба грянуть может. И в миг все испортится. . . Окажется все не так, как думалось и грезилось. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно, — поплевала через левое плечо матушка, — да муж твой неверным окажется, сердце разобьет или еще какой изъяз вылезет. Вот тебе мой третий совет, девушка: жизнь у тебя одна, не нужно ее попусту тратить, поэтому дай счастью и примирению три попытки. Не рви сразу. А коли в три раза так и не вышло — собирай свои пожитки и возвращайся в отчий дом, одна ли, с детьми ли. А коли нас не станет, к сестрам иди или еще куда, к добрым людям, но себя не растрачивай, бесполезным уговорам не поддавайся. Все так устроено в мире по-доброму, что если у тебя плохо все — не конец это. Ибо конец всегда хороший у былиц. А ты сама красавица дивная, у таких, как ты, должна быть не жизнь, а сказка.

— А тебя обманывали, матушка? — спросила Ма-линка.

— Моя мать говорила: никогда не верь обманщикам. Раз обманул — жди следующий. Но несмотря на совет верный, я свой нашла: три раза людям шанс давать. А уж потом решать. И не подвело меня сердце. Слава богу, не пришлось три раза оземь кидаться в отчаянии. Поэтому порой, Малинка, и взрослые ошибаются. В твоей жизни ты ответственна за такие решения будешь. Но совет и бабкин, и мой прими к сведению. Расставь руки в стороны, на одну ладонь любовь положи и будущее с прощением, на другую — гордость с правдой. Не всегда первое перевешивает, и не всегда второе.

И улыбнулась Заря Милославна, крепко дочь к груди прижимая. А в душе и в теле от своих же слов сердце материнское до боли сжалось. Говорилось в баньке не только хорошее, но на всякий случай, и про самое страшное оговаривалось.

\* \* \*

— А было ли такое, матушка, что жалела ты, что замуж за батюшку пошла? Не желала вернуть ли прошлое? — серьезно спрашивала Малина Филипповна.

— Много раз, не буду скрывать, — просто ответила Заря Милославовна. — Да только это все наносное было: поначалу, по молодости и характеру переменчивому, потом от усталости или от болезни





какой, когда и божий свет не мил. Ибо если по правде я так считала бы — то не раздумывала бы ни минуточки. Бывает, Малинка, такое — проходит любовь. Правда это... И сил нет под одной крышей оставаться. Несмотря ни на что.

— Любить ведь можно головой, — указала Заря Милославна на голову свою светлую прекрасную, со лбом высоким белым и глазами синими глубокими, будто озеро.

— Сердцем, — и положила руку беленую на грудь красивую оголенную, четверых детей вскормившую, и только краше ставшую от материнства счастливого.

— И телом любят, — рукой провела по красоте чувственной,стройной и ровной, которой любая девушка позавидовать могла.

Глупые и молодые в тело бросаются и забывают про все. Поэтому установили мудрые правила раньше шестнадцати да без позволения родителей не жениться. А мы не торопились с отцом, детство твое ласковое продляли, которое никогда, поверь, не повторится. До восемнадцати тебя берегли.

Жить без любви — это как хлеб без масла и варенья кушать. Есть можно, да скучно и постно. Тот счастливый, который всеми тремя частями любовь понимает, и в этом силу и радость черпает.

Но должна сказать, с годами все меняется: ослабевают тело, тускнеет ум, сердце черствеет. И люди остаются друг с другом лишь из уважения за время проведенное. И этого тоже дорого...

Разлучает порой судьба супругов на долгие года, и ни головой, ни телом такое не понять, а вот сердце одно остается любить. И так возможно. Поэтому как сложиться у тебя — не знаю. Да ты старайся любить от души. Ухаживай за своим чувством, как за цветком. И увидишь, что любовь не данное, а приобретенное. А когда детишки появятся — это главным станет, что связывает на веки вечные взрослых людей.

И серьезно Заря Милославна в Малинку всматривалась, через очи и беседы пытаясь внушить дочери веру в себя, в людей и в будущее.

\* \* \*

— Вот восхищаюсь я тобою, матушка. Как это у тебя получается всегда веселой и радужной быть? Кого не увидишь — приветить.



Все у тебя по местам — по полочкам. Всем успеваешь подарочки послать, весточку передать, поцелуйчики отвесить. Ничего не забываешь. Люди про тебя говорят — добрая. Что ни день — у тебя будто праздник, — вопрошала Малинка маму.

— Это только со стороны, глупенькая, кажется, что я все успеваю, — засмушалась матушка. — Но скажу тебе так: не всегда таково было. По молодости, так уже случилось, бестолковой росла. Думала — мне все должны: растить, любить, подарки дарить, ухаживать и заботиться. Да только ждать долго приходилось, пока мне принесут, уберут и так далее. Легче и быстрее получалось самой все сделать, а еще и другим помочь по дороге. И как только за работу такую бралась, силушки во мне прибывало невиданно, что вокруг я еще десять дел успевала сделать. И заметила тогда я такую особенность, чем больше для других делаешь, не ожидая ничего взамен, а так мимоходом вроде — тем больше силушки на свои дела становится. А уж если толк от дел получался или неожиданная благодарность приходила — так и вовсе счастье под потолок, когда пользу свою чувствуешь. И подарком лучшим становились друзья верные, от которых гостинцев и даров да помощи сваливалось — не сосчитать.

Понимаешь, Малинка, у каждого человека в сердце будто сосуд хранится. Наверху страх лежит. Коли не жалко себя на других растратить, не боязно новое начинать, людям не страшно поверить как самой себе — страх вдруг исчезает, — вещала матушка трепетно.

— Дальше злость хранится. Злых людей, Малинка, не бывает. Злость она у всех на одно лицо. Вот как маслом раскаленным на руку капнешь, ожесточаются все как один. Ибо не злость это вовсе, а боль. Душевная или телесная. Не важно. И чем больнее, тем яростнее. Звереет на глазах человек, в животное обращаясь. От того не принято в наших краях братьев меньших есть. Знают люди, кровь человеческая закипать от боли животной начинает и перепрыгивает ярость с одного на другого, будто хворь или чума. Ведь и зверям больно не меньше.

Стоит только в чужом человеке увидеть причину злости, за которой боль-то прячется, как он тебе понятным покажется. И злость на этого человека проходит. Глядишь, все не так уж мрачно и плохо. Как только из сосуда боль выветривается — наполняется он чудес-





ным ароматом — любовью благодушной ко всему вокруг. Хочется все любить, всех обнять, сделать что-то, подарить чего. Прибывает силушка для дел больших и маленьких.

Добрыми людьми не рождаются, а становятся. Кто в любви и заботе рос — тому полегче немножко, на родителей-то гляючи. Есть пример. Ну, а кого пронесло — тот должен сам докумекать, и на плохой пример смотря, стараться вверх да вперед расти. Как дерево...

\* \* \*

Долго шли разговоры между матерью и дочерью. Много предстояло обсудить. Вопросы сложные и простые, важные и неважные, мирские и душевные. И плакали, и смеялись вновь, грустили и радовались вместе. Парились, отдыхали, спали, кушали и вновь за беседы принимались. Чтобы ничего не оставить недосказанным, недоопределенным, непонятым.

И под вечер вышли из баньки томленными и уми-ротворенными, свежими и красивыми, будто розы цветущие. Малинка, та и вовсе молчала, ощущая себя чашей наполненной, боясь расплескать благодушие от внимания родительского. Алым платком, подарком дорогим материнским, волосы русые распущенные покрывая, так и пошла спать, напевая что-то душевное, не отужинав. Полна была одной лишь лаской материнской.

А семья встретила радостно матушку: расцеловал муж жену хорошую, поластились дети дружные, откушали яств домашних и разбрелись отдыхать и поживать. Завтра ждал добрых людей праздник большой — Новый год.

\* \* \*

И не было счастливее дня на всей земле добро-нравной, чем празднество Нового года. И чувствовался он слаще праздника дня рождения. Ибо в свой день подарки получаешь лишь ты, а на новогодний праздник — все вместе! Все дарят и все получают! Повсеместно, от души, любя. Это людей радует и объединяет общим чувством.

Собиралось общество со всей округи на амаран-товом поле, что имело красоту необыкновенную, веяло ароматом чудесным, Новому году под стать, где столько волшебства, чудес и удачи ожидалось и грезилось.



С утра расстилали шатры алые, нарядные, расставляли столы да скамьи парадные, украшали их плодами зрелыми и хлебами пышными, разжигались костры высокие для приготовления кушаний лакомых и для священных действий во благо всевышних сил, что каждый день добрым людям помогают и оберегают. Для развлечения приезжали веселушки с веселухами со всех концов народ радовать, разные мастерские свои ремесла раскладывали и тут же обучали молодежь любопытную, рассаживались знатные забавники и выдумщики сказки сказывать и новостями удивлять население, становились в хороводы отрядные молодые ребята и девушки, что первый раз «в люди» выходят, себя показать — людей посмотреть, ну, и ребятня носилась в разные стороны, шебеча и вереща, гоняясь за змеями воздушными.

Мудрые отцы и матери семейств, основоположники и продолжатели традиций тем временем гостей принимали со всех краев, знакомились, общались меж собой и с другими, совещались, выпивали, кушали и отдыхали после года работы и перед тяжелой зимней порой.

Погода стояла золотая. Божественная.

\* \* \*

Встала Малинка по утру раннему, не спалось, сердце девичье колотилось невозможно, от него родимого, от стука галопом мчащегося, запылали щеки, будто зарей опаленные. Умылась, расчесалась, оделась в лучшие свои одежды, что сама весь год шила-вышивала в образах женских и, помолвившись, попрося благополучия, спустилась к семье.

\* \* \*

Встала Заря Милославна по утру раннему, сердце женское билось радостно, хоть и волнительно. Однако, зная прописные истины: «чему быть — того не миновать» да и «что делается — все к лучшему», умылась, расчесала волосы свои благородные, украсила стан свой перламутрами речными и оже-рельями из бусинок радужных, что дочери умелые наплели ей в подарки, оделась в лучшие свои наряды и платки и, помолвившись о радости видеть семью свою счастливую и благоденствующую, спустилась к столу.





Через время и малые девицы в косынках праздничных поспускались, отец уж печку затопил. Поели пирогов с морковкой, взяли лукошки, полные подарков да гостинцев для родни и друзей и отправились на празднество всеобщее — на Новый год.

\* \* \*

Новый год наступил. Красивый это праздник. Радостный. Долгожданный. Самый любимый.

Кто грустил в тот день, потеряв надежду или близкого, обретал малек счастья глоток.

Кто разочаровался в чем — дыхание второе открывалось.

Ну, а кто умел по жизни радоваться, после работы благородной отдыхать, тот и вовсе счастьем весь светился и других заражал.

Прибывали гости, все больше поле, благоухающее ароматом сладким и чудесным, наполняя. Приезжали, приходили, обнимались и расцеловывались крепко, от души да в уста. Кто ведь друг друга год целый не видел?! Только на празднике всеобщем и встречались. Счастливые лица вокруг. Кто болел — выздоровел. Кто на сносях ходил — уж на руках потомство убаюкивал. Кто молод был — подрос для хороводов. Ох, и летит время-времяшко, растут чужие дети быстро. Не поспеешь!

Приехала семья уважаемая и Филипа Матвеевича, доброго гражданина своей земли, кого в округе «ювелиром» называли в шутку добрую. Ведь на хозяйстве у него было аж пять девиц. Жена — благородная и мудрая мать семейства, сама красавица, Заря Милославна, и четыре дочери — одна краше другой, гляючи на которых, люди оборачивались, дивясь прелести сестер. Не уродилось в благородном семействе помощника мужского пола, к сожалению. Однако ж дочери, будто жемчужины в бусах дорогих, одна к одной шли, и говорили все, такое богатство может и получше будет. Ну, а сегодня выходила в свет старшая из них — Малина Филипповна.

Зашли в круг почетный, где выборные главы всех деревень встречали-привечали гостей; смеялись, радовались встрече. Мужчины побратались, женщины расцеловались крепко, шебеча и курлыкая, подарками обмениваясь. Показал Филипп Матвеевич старшую дочь товарищам своим, с которыми еще в детстве змеи воздуш-



ные запускал. Показала Заря Милославна Малину подругам своим закадычным, с которыми еще с молодости кашу из песка варила. Заохал народ от восхищения, похвалил семью, говоря, что Малинка — украшение праздника. Стали товарищи и своих представлять сыновей, у всех парни как на подбор. Давай хвалить-расхваливать и свой огород.

Закраснела Малинка, заробели ребята, и отпустили их родители на поляны хороводы водить да в свои разговоры разговаривать. Ибо хвали не хвали, а сердцу не прикажешь. «Насильно мил не будешь». Только попортишь все противостоянием своим родительским.

А родители, будто десять лет последних с себя сбросив, сами помолодели на глазах, надели женщины на головы своим мужьям венки чудесные из осенних цветов да трав и сами в пляс да танцы кинулись.

Ох, и весело на праздниках полянских! Люди других верований и традиций поглядеть заглядывали. Всех принимали. Всех угощали. Широкая душа у народа, всех вмещает, главное, что не тесно и дружно. Кто уставал от песен да плясок или от вина хмельного молодого, так и падал на траву счастливым, весь в венках да соломинках марантовых.

Наконец, многие дела побросав, шли на молодежь смотреть, где жизнь и будущее искрилось во взглядах молодых, улыбках открытых, рукопожатиях многозначущих.

Стояла Заря Милославна и радовалась, гляючи на мужа своего, словно в мальчишку обратившегося, с другими такими же сорванцами на кулаках силушку богатырскую носясь, проверяючи. Силен был муж ее любимый, крепок. Смеялись и кричали задорно вокруг мужицким забавам. Сердце радовалось смотреть на игры шуточные.

Кинула взгляд на девчонок своих, что уж по пять венков наплели себе да подружкам, а потом принялись в горелки бегать играть. Это побросали в пылу юности и побежали, пятками сверкая, на веселушек смотреть, что представление давали на потеху.

Наконец, взглянула на поля с березами у реки, где, не уставая, хороводы кружились, смехом юным, будто ручейком горным, переливаясь-журча. Сжалось сердце материнское, завидев Малинку-





голубку у березы голову преклонившую, щеками пылающую, а рядом молодой парень знакомый, из полянских, волнительно что-то вещал. Всмотривалась глазами своими материнскими, опытными и чуткими, и не заметила, как сзади подошла подруга ее давняя; обняла за плечи Зарю Милославну.

— Здравствуй, Зорюшка! С Новым годом! Я тебя ищу, никак не сыщу. А ты вот где, — радовалась встрече подруга верная.

— Здравствуй, Аленушка! С Новым годом! Как рада видеть тебя. Совсем не появляетесь с Антонием в наших краях. Неужели дела важные не дают оторваться? Празднику порадоваться? — обрадовалась Заря.

— Ох, работка у нас, скажем прямо, не сахар. Да кто-то должен следить за мироустройством в округе. Не все так просто, дорогая подруга. Счастья много везде, да и беды хватает. И счастливые несчастным помогать должны. Вот нас и избрали на такие дела, чтоб гармонию везде равновесить. Да ну что мы все про нас, — и посмотрела Алена Васильевна на березовую опушку. — Вижу праздник у вас большой да перемены счастливые. Начинается новая жизнь и новое счастье.

— Как время пролетело, сама не заметила, — согласилась Заря Милославна.

Замолчали обе, внимательно вдаль глядя.

— Ну что скажешь, подруженька? — спросила родительница.

— Смотрю и вижу только хорошее. Как две капли воды на один листочек падают, в свете солнечном отражаясь радугой, сливаются в общее и ручейком дальше текут, все вокруг орошая и питая, — всмотрелась еще, — две половинки одного яблочка.

— Ведаешь? — спросила Заря серьезно.

— Ведаю, хоть и на старуху бывает проруха, — засмеялась Алена.

Обнялись.

— Да я не так просто пришла, хоть всегда рада видеть тебя. Есть разговор у меня к тебе дружеский.

Удивилась Заря Милославна, но ничего не сказала.

— Вот вылетит голубка из семьи родительской. Заживет своей жизнью птичьей, молодой. А место ее в семье запустеет. Знаешь ты, подруга, что место свято пусто не бывает. Его обязательно чем-то



заполнить надо будет. Или оно само заполняться начнет... Плохим или хорошим. И хоть вижу я совсем не изменилась первая красавица на селе, как была краше всех, так и осталась, да поздно вам с Филиппом за сыном на базар ходить. Да и незачем.

Еще больше удивилась Заря таким разговорам, но опять ничего не сказала в ответ. Мудра ее подруга была, без дела серьезного не стала бы о таком разговор заводить.

— Вот сама и подумай: место пустует и надо чем-то его пополнять. Люди вы сильные, добрые, с любым справитесь. Только зачем силы высшие испытывать? Найди сама себе труд или дело, которое достойно твоим качествам благородным будет.

Насторожилась Заря Милославна и посмотрела туда, куда подруга загадочная стала указывать, в лес да в траву высокую. Повернула голову набок и узрела, как что-то в траве зашевелилось. А потом, присмотревшись, разглядела пару черных глаз, сверкающих сквозь травинки, наблюдавших за ней все это время.

— Жила-была одна семья в соседнем поселении. Хорошее село. Много людей добрых. Выпустили из гнезда они девицу молодую. Здоровая, красивая, ничего не скажешь, сама на свадьбе гуляла, видела, да только своенравная на характер... Женили на чужаке пришло, совсем из далеких земель, где кровь густая горячая течет. Крепкие люди там обитают, но самовольные, норовистые. Мужчины у них высокие, как те горы, красивые, как те дуга заливные, и гордые, как те птицы величавые, что в небе возвышенном летают. Прошло время, да только бедой обратился союз этот. На следующий год захотели вторую дочь замуж выдать, да только не успели. Сбежала девчонка с тем красавцем, мужем старшей сестры. И словно в воду канули оба. Искали их — да без толку. Говорят, видели их в разных местах. Вроде как живы-здоровы. Прошел еще один год. Вроде поухло все, да только ранним утром, прямо на пороге обнаружили лукошко берестяное, а там ребенок лежит. Вмиг узнали в облике малютки и сестру глупую, и мужа обманного. И не смогли родные, как ни старались, принять чадо любви грешной в свою семью. Больно смотреть на свои ошибки и огорчения. Их я в этом очень понимаю. Вот росло дите на попечении разных добрых людей да при помощи кровных родственников, пока к нам не попало. Нету этому исчадию







места нигде. Мы бы взяли, не раздумывая, да у нас таких черноглазых четверо.

Нету места, а у тебя вроде как освободилось. Вот я и подумала... — спокойно закончила с чем пришла Алена Васильевна.

Внимательно Заря Милославна подругу слушала, взглядом глубоким в суть разговора проникая. Каждый волос ее благородный чутко по ветру колыхался, каждому слову внимая.

И в третий раз ничего не сказала женщина, только в траву проницательно вглядывалась. И игрой света подсвеченное, вдруг появилось личико смуглое девичье. Выскочило, показалось и опять в траву бросилось.

Разглядела Заря Милославна все, что хотела: совсем маленькая девчушка-то, худенькая, как тростинка, смуглая, как уголек, ротик алым бантиком, а поверх усики уже черненькие. А глаза, глаза-то смоляные, как бусины агатовые. Ничего в них не видно, как в омуте.

— Взгляд колкий, будто иголками стреляет. Так и сил в них с иголку тонкую. Утыкано сердце обидами, совсем духа нет. Долго придется каждую занозу из сердца вытаскивать и медом любви чудодейственным смазывать. Вдвойне или втройне вниманием обласкивать, чтоб жить такая душа захотела заново, счастливо и без мук, — сама себе под нос заговорила Заря Милославна.

— Все верно. Тяжелое это дело чужих детей воспитывать. Да я и не тороплю. Пока у нас поживет. Вот таскаю везде за собой, а вдруг Боженька смилостивится — подарит девчонке прощение за грехи родителей, — и улыбнулась Алена Васильевна тоже сама себе.

Тем временем ребенку надоело в траве прятаться, раз так и так ее обнаружили. Привстала она и давай кувыркаться по траве, веселясь простыми забавами, глазами иногда посверкивая в сторону мудрых подруг.

Пока стояли, смотрели — не заметили, как сзади подошел Филипп Матвеевич, радужно супругу обнимая и с подругой здороваясь:

— А я думаю, куда моя жена запропастилась?! А она с дружкой беседы беседует, — посмотрел на обеих и удивился их серьезности. Глянул в лес, куда они утаивались и опять поразился. Забавная картина его очам представилось.



— А это что за чертенка-медвежонка тут кувыркается? — расхохотался муж по-доброму, сам себя веселя.

И случилось тут непредвиденное, как в народе говорят, волшебное. Вдруг привстала на носочки девочка инородная, протянула ручки свои тшедушные в сторону мужчины светлого и побежала к нему стремглав, будто ждала этой встречи всю свою жизнь злополучную.

Раскрыл объятия свои крепкие Филипп Матвеевич на неожиданный порыв детский и обнял тепло и крепко. А пока обнимал тельце беспомощное тшедушное, посмотрел вопросительно на жену свою, чьи глаза васильковые слезами, щемящими сердце, наполнились. И понял все.

— Видать, топить и топить мне баньки Бог работу послал. На долгие года...

## Конец





## Сказка про мишку

**Ж**ил-был на свете один мишка. Обычный бурый мишка в обычном лесу. Как водится, и нечему тут удивляться, подстрелили охотники его мамку, и пришлось ему несладко. Долго он бегал по лесам, сначала ее, родимую, искал, потом понял, что нет его кормилицы, и стал искать пропитание. В лесу еды полно, в особенности летом, да только ее ж уметь собирать надо. Мамка-то все соберет или носом ткнет во вкусное. А тут сам.

Но ничего, пообвыкся: где вкусно пахнет, там и еда. Пару раз, правда, плохо очень было по неведению, но тоже не смертельно. Покрутило-покрутило да отпустило.

Где другими медведями пахло, те места обходил, а вообще старался не высовываться: поест ягод, поест корешков да травок, и в норку. Облюбовал он одну норку, жил в ней до него кто-то, запах не медвежий, но по росту кто-то большой. Главное, места хватало и страшно не было. Жил и жил, не хорошо и не плохо; мишки, они же такие — живут и живут, ну и ладно.

Только однажды беда случилась. Лежал мишка у себя, лежал, никого не трогал, и вдруг в нос сильный запах чужой! Запах такой он уже встречал раньше, да стороной обходил, от греха подальше. Станный запах. А тут прямо в нос! Как будто лапой по морде! Зата-

ился мишка, а запах часа два не исчезал, стоял перед норкой; потом вроде сошел на нет да и совсем пропал. Пришла, видно, ему пора уходить с облюбованного места. Думал-думал он и решил: завтра уйду.

На следующий день уж и забыл мишка про зверя, а тот опять пришел, да опять запах резкий в нос, но уже не так страшно. Непонятно, в общем. И рад бы убежать, да запах этот встал перед входом в норку и не уходит. Правда, и в бой не рвется, ждет чего-то.

Мишка думал-думал, может, на задние лапы встать? Если лиса какая — испугается, убежит. С другой стороны, если зверь покрупнее, увидит его — порвет на тряпочки. Но почему тот не двигается? В общем, решил мишка, если жив останется, бежать из этих мест и скитаться, как в прежние времена. Однако запах постоял-постоял и опять исчез. То ли зверь, то ли еще кто какие-то игры в прятки с ним затеял.

Мишка умный был, не зря он сам сообразил, что малинку кушать можно, а те ягоды, что в три листика растут, не надо, от них потом все нутро жжет. Вот и сейчас решил он ночку не в норке переночевать, а рядом за бугром, да и денек, на всякий случай, посидеть там, покараулить. Специально загодя побольше листиков наелся, чтоб подольше в дозоре высидеть.

И вот утречком пришел-таки зверь. Лысый весь, розовый, размером с мишку, весь в лохмотьях красных, цветом малинки, четыре лапы, два глаза, морда страшная, хуже волка. Подошло чудовище к норке-то и вдруг брык!!! — свалилось замертво. Ой, нехорошо. Знал мишка, что некоторые мертвые звери вовсе и не мертвые, специально они так

в ловушку заманивают несмышленных медведей, чтоб те ближе подошли, а потом хватить их!

Тихонечко, потом ползком, потом ветерком пробежал мишка мимо — лежит, не шелохнется. Еще кружок сделал вокруг — лежит. Ну, ладно, была не была, встал на дыбы, на бой вызывая. Не такое уж оно и большое, это животное, да еще, видать, и раненое, авось, победим! Только не поднялось оно, как лежало в своих лохмотьях, так и осталось мертвяком.





Подошел мишка к нему, принюхался. Странно все это было. Запах-то не такой уж и противный оказался, как сначала в нос ударял. Это, наверное, по первости так вышло. Всегда оно так, сначала все плохим кажется. Сильный-то сильный он, но не страшный, даже приятный. Издалека слышны были нотки его любимой малинки, медка чуток, одуванчиками и васильками пахло. Не плохой запах был, не злой, главное, он это сразу почувствовал. Такие звери медведей не едят. Потом еще что-то уловил мишка, какой-то знакомый запах, как будто мамкой пахло, молочком, но не совсем. Хотел еще принюхаться, а чудовище вдруг прыг!!! — как вскочит, и наутек.

Мишка так испугался, что даже не успел убежать. Так и стоял. И страшно, аж зуб на зуб не попадает! Одно ясно: животное его само напугалось. И вот еще что: с того момента почувствовал он странное: внутри щекотка появилась, ну, словно бежишь по лесу, а травка щекочет пузо, смешно становится. Так и здесь, только не пузо, а нутро; любопытство появилось в мишке. И решил он повременить место жительства менять, побежал быстрее на болото, побольше покушать ягод разных да завтра подождать. Пока бежал, щекотки все больше становилось, она прямо общекотала его всего. Ой-ей-ей!

Не думал не гадал, а пришло чудовище; пришло, остановилось у норки и опять брык! — и лежит мертвечиной.

И на следующий день пришло и опять брык!

Ничего мишка не понимал, только подходил и нюхал.

Чудовище оказалось такое интересное, пахло каждый день по-разному и приходило разным: то синее, как васильки, заявится, то — как малинка, то одуванчиками прикинется, то опять малинкой. А потом раз или два — как травка-щекотка. А когда дождь капает, как кора дубовая приходит, но пахнет все так же: мамкой и медом с малинкой. Понял мишка, это животное с ним так общается. А он же неграмотный, мамку убили больно рано, не успела она рассказать ему про таких животных да про то, как с ними разговоры разговаривать, вот он, несмышленный, и не знает, как ответ правильно давать.

Пытался мишка по-медвежьи разговаривать, да все впустую. Бегал даже смотрел, как зайцы и лисы общаются, и так пытался заго-



ворить, и эдак — все равно непонятно. То малинкой, то васильками, то корой, то травкой. Вот поди разбери.

Жизнь у мишки пошла интересная.

Решил он однажды пойти за животным, когда тот после лежки своей проснется. Ага, пошел. Ой, куда привел его! Везде много запаха этого, прямо

в глазах потемнело, и пахнет всем подряд, аж за-мутило. И главное, не понял мишка, чего оно хотело от него? За ним последовать? Но туда щекотка идти запрещала. Шаг сделает — щекотка пропадает, страшно становится. Решил мишка: дружба — дружбой, а чутье важнее. Нельзя ему туда.

Сядет он у конца леса, провожает взглядом друга своего новоиспеченного. Тот ныр в какую-то дырку; норка вроде, только вверх растет, как муравейники, которыми мишка очень любил полакомиться. Смешно!

Однажды так вот провожал, а из той норки вышли двое других, только выше и еще страшнее, чем дружок, и как стали они реветь — шерсть у мишки дыбом встала, еле улизал ее потом назад. И почувствовал, что другу его от рева этого нехорошо, вместо меда с молоком соленным стал пахнуть, видать, помощь нужна.

Ой, что делать?! Побежал мишка в свою норку и давай туда-сюда метаться. Ой, друзья ли они вообще, ведь хвостиками не виляли, даже глаза в глаза друг другу не смотрели. А как спасать? А кто он против тех двоих? Ой, что делать — не знает! Решил спасать. Побежал назад, а друга нет, и двоих тех нет, порвали дружка! Да вроде кровью не пахнет... Ой, что делать?

Ждал всю ночь, до утра еле дожил. Потом смотрит: идет друг, живой, малинкой одетый. Все хорошо. Видать, он-то не из слабеньких. Даже приятно стало. Друг — он ведь один, такой, какой есть, его не поменяешь.

Пока лежал дружок в спячке своей каждодневной, побежал мишка к сосне одной: давно он заприметил там пчел, большой они улей построили, да все не решался залезть. Считал, рановато ему с пчелами ловчить. А тут что думать?! Друг живой вернулся, да с победой.







Ой, сам не помнил, как залез да всех пчел распугал, да только приволок пол-улья, бросил у лап друга — и опять за бугорок. Тут и он проснулся, смотрит: улей с медом; помялся-помялся вокруг, наверное, мишку искал, благодарить в ответ. А потом зачем-то лапами листиков нарвал, улей туда положил, да и опять побрел туда, где двое ревучих жили.

Мишка, само собой, за ним. Как к муравейнику подходить, опять двое вышли, все-таки не убил их друг, ну да ладно. Только когда подходить стал, слышит — рева нет, по-другому запели те двое, уже не так гадостно. Ага, понятно, и то ладно.

На следующий день приволок мишка большущий куст малинки. Так устал, что сам чуть не заревел.

На другой день еще один вырыл.

Хорошая это дружба была, спокойная, каждый день друг навещал, и мишка в норке своей остался жить, тот разрешил. У него другая норка есть, зачем ему мишкина?

Так и жили. Приспособились друг к дружке; придет друг-то, полежит-полежит, встанет, уйдет. Мишка больно уж полюбил тоже с ним отдыхать, ляжет рядом и прикорнет; мамкой пахнет и чем-то добрым, ласковым, забытым. Потом как просыпаться другу, мишка спрячется, помнил он, не любит тот спросонья невесть кого встречать.

Грибы уже пошли, коренья разные; иной раз мишке было приятно подарочек для друга оставить. И тот его никогда не обижал, всегда гостинцы брал.

Заметил еще мишка-то, что, как гостинец припасет для друга, двое ревучих молчат; как не заготовит, пустым друг возвращается, — орут, как лоси. Непонятная жизнь была у этого друга, но, видать, тоже не сладкая, почти как у мишки. Получается, друзья-товарищи они по судьбе-горемыке.

Вот уж и грибы сошли, друг подрос заметно, да и мишка окреп.

Лежали так вот однажды, мишку солнышко осеннее последнее пригрело, тоже уже хотел покемарить, как вдруг смотрит — букашка-таракашка в ухо дружку ползет. Ох, и плохая это была букашка! Мишка своих вычесывал, как мог, а тот-то спит, не слышит. А она знай себе лезет вперед, не останавливается. И уши у друга —



одно название: лысые, розовые, туда и лягушка запрыгнуть может, не то что таракашка.

Эх, делать надо что-то! Полез мишка ее вычесывать, прогонять, чтоб худа не было. Чесал-чесал — раздавил вредителя, да только, видать, усердно чесал, кровь потекла. Стал рану зализывать: нельзя, чтоб кровоточило, раненый зверь для других — легкая нажива, это каждый в лесу знает.

Как другу вставать, мишка ушел, но решил про-водить его до норки, мало ли что? Проводил, как водится, до конца леса; вышли двое и такой рев устроили, ой-ей-ей. И кричали, и ревели, и лапами махали.

Ну да ладно, кто их поймет.

Только не пришел дружок на следующий день. И на другой не пришел. У мишки весь аппетит пропал: что стряслось, что случилось? Ведь сам видел: раздавил он таракашку ту пакостную, не случилось беды-то. Вот напасть...

Каждый день ждал он друга, даже ночевать стал у края леса. Гостинцев припас, орехов, кореньев.

Много времени прошло, но пришел однажды друг. У мишки гора с плеч! Тот, как и прежде, упал, мишка сразу к нему, прямо слезы брызнули из глаз: где ж ты был? что с тобой случилось? чем помочь тебе? Один ведь ты у меня такой... Все гостинцы оставил рядом. Тот, как обычно, поспал малость, потом встал, отобрал, что годится, и домой засобирился, в муравейник.

Стал друг опять приходить, правда, уже не малинкой одетый, не травкой, а все больше корой осинки заявлялся. Холодать стало, видать, обычную шерстку поменял на зимнюю. Мишкам-то что — у них шкура так шкура, а у друга так, одно название.

Так и жили, старое не вспоминали. Только вот когда изморозь появилась, пришел дружок его сердечный, как водится, лег спать-то, проснулся, уйти ушел, а больше не возвращался. Долго мишка ждал, даже снег уже пошел порошистый, но друга все не было. Сначала мишка опять в смятение и страх впал — вдруг случилось что? — а потом дошло до него.





Друг-то поспать любит не зря, видать, в спячку впал он в своем муравейнике, в зимнюю уже. Успокоился мишка малость. К тому моменту научился он различать запахи в этом муравейнике. Пахло разным: вкустоями, дровами, молоком, огнем, дымом, травой сухой, но самое главное — среди этого всего, когда мишка закрывал глаза, он явственно чувствовал: другом пахнет. Запах был тонкий-тонкий, как дружок его, тростиночка, но живой-живой. Долго он ходил на муравейники смотреть, друга ждаль, уже и снега навалило по самую морду, а того не было видно; скучал мишка очень, да видать, сердце и к этому приучается. Пора было и самому в спячку впадать. Норка мишке в самую пору была для зимовки, вот однажды и заснул он крепким сном.

Началась зима. Зима-метелица, зима-матушка, зима-стужа.

Мишка про зиму многое знал, в основном, из снов. Все белое-белое, как молоко, теплое-теплое, как молоко, сладкое-сладкое, как молоко. Еще друг снился, как они вместе по полям скачут, улы ищут, вдвоем-то веселее и сподручней от пчел убежать. Еще к речке бегают, воду лакать да игратья.

Почти все сны у мишки сладкие были, только однажды приснилось, что друг его застрял где-то и выбраться не может; зовет он его на помощь, а мишка-дурачок не понимает, что делать, как беду отвести, аж завыл во сне. Но ничего, и это прошло, на то они и сны.

Прошла зима. Однажды мишка это явственно понял, когда в животе заурчало, как ручеек.

В животе-то и правда заурчало, но, оказывается, и ручеек рядом был. Ох, как приятно было после зимы напитокя! Хотел весь ручеек выпить, такая жажда была. Бегом побежал к лесу смотреть, что там друг-то? Оказалось, муравейник на месте, кой-какие новые запахи прибавились, от сильного голода мишка их сразу же почуял и определил; но самое главное, зачем прибежал, — здесь друг, на прежнем месте. Это он даже не по запаху — чутьем понял. Опять щекотка зашекотала. Жив его дружок, в порядке все.

Побежал мишка пропитания искать, а то после зимовки когти да зубы одни остались. Несколько дней где-то бегал, рыскал. Много запахов новых стало: медвежьих, волчьих, лисьих, заячьих... Рядом







речка текла. Однажды мишка мимо пробежал к болоту, глядь, а там большой медведь-увалень сидит и лапами в воде сучит. Стал подглядывать, что за игра такая? Оказалось, увалень рыбу тащит, да так ловко, и в рот сразу кладет. Ах, вон оно что, медведи и рыбу едят, вот оно как. Увидеть увидел, в уме отложил — и бегом оттуда; нечего на глаза попадаться громадинам всяким. Потом как-нибудь попробует сам рыбу ловить.

Солнышко посильнее разгорелось, и однажды пришел друг. К норке подошел, где мишка зиму зимовал, и опять брык!!! Ох, и до чего же он подрос, большой стал, высокий, худой, правда, видать, после зимовки еще не отъелся, но медом еще слаще стал пахнуть. Только он брыкнулся — мишка к нему, всего обнюхал. Ох, и много ему этот запах рассказал: и про болезни, и про голод, и про то и про это, всего не перескажешь; кое-что мишка понял, кое-что — нет, от радости запах голову вскружил, родной ему друг был, как брат родной, как мамка, как Лес.

Жили они с тех пор опять дружно. Мишка вечером бегал, ночью спал, утром друга ждал и так день за днем. Кое-когда гостинцы приносил; дружок его никогда не обижал — всегда все брал и на следующий день снова приходил, как завелось.

Знал мишка: есть теперь у него на свете настоящий друг, есть ради кого жить, есть на кого положиться.

Но, видать, горе тоже не любит одиночества, тоже ищет, с кем познакомиться да породниться.

Уже время грибов настало, и начала на душе у мишки шекотка шекотать, только не как обычно, а тревожно, а все потому, что увалень с речки повадился в здешние края захаживать. Видел как-то мишка, что с весны увалень тот еще подрос. И не мог мишка слова такого подобрать, чтобы описать этого медведя. Как пень, нет, как три пня, да с корнями, да с ветками, вот как он вымахал!

В общем, стала шекотка кости шекотать, стал он плохо спать. Запахи того пня-медведя зигзагами начали виться возле мишкиной норки, зигзаги — в круги сворачиваться, шекотка уже не шекотала, а почти до крови чесала.

И вот однажды, как водится, ждал мишка друга своего закадычного, ждал и не дождался.







Ага, началось. Стремглав побежал к муравейнику, а по дороге слышит жуткий запах: на охоту тот пень вышел, да где? На мишкиной территории! Да на кого? На друга его! Что его дружок, тоненький, как листик малинки, супротив такого пня? Былинка! Ой, беда! И мишка ведь еще совсем не медведь, так, сбоку припеку, молоко на губах не обсохло, медвежонок. Рано такому в бои вступать. Только ведь друг есть друг, разве предашь? Шкуру свою в кровь сдерешь, а не предашь. Вот и мишка уверен: случись у него какая беда, друг бы его никогда не оставил.

Побежал он, и решение его по дороге все крепче становилось. Смотрит, стоит его дружок, к березке прижался, глаза распахнутые, страх в них. А пню тому, громадине, только того и надо. Хуже то, что время спячки друга пришло. И вправду, минуты не прошло, как брык!!! — и свалился дружок. Пень-медведь тоже такого оборота не ожидал: на тебе, добыча сама померла, рвать не надо. И хоть медведи мертвечины не едят, а в добрых краях они и вовсе живых не едят, окромя рыбы какой, но этот пень вымахал не зря, мало ему малины-годы стало, возомнил он себя царем леса и на мясо повадился.

В общем, не поверил пень-медведь спячке, подошел, понюхал да носом как ткнул, да в сторону дружка как листочек липовый отбросил: вставай, мол! Не шелохнулся тот.

Мишка знал это, сколько раз сам его шкуру и лизал, и чесал — не просыпается. Крепко, видать, спячка одолевает породу эту. Закружилась голова у мишки, почувствовал он: если сейчас другу ничем не помочь, беда будет. И мертвого пень его съест. Хороша же спячка!

Что делать? Думал-думал, а ведь и думать времени нет. Решил мишка на чутье свое положиться, и будь что будет: куда шекотка понесет — туда и бежать. Как он прыгнул пню-громадине на спину! Ой! Любой олень бы позавидовал. И прыснул пень-репень в сторону от неожиданности!

Как начал мишка реветь — и не скажешь, что молодняк, словно настоящий зверюга. Да как встал на задние лапы без всякого предупреждения — первый и самый главный признак у медведей, что на бой вызывают.

Тот пень даже сел от неожиданности и мишкиной наглости, на то и расчет был. А потом как почесал мишка, воспользовался рас-



терянностью врага. Да куда почесал — прямо к тем муравейникам, где друг его живет. Шекотка шекотала; как надо где прибавить — он бежал так, что кусты тряслись; где убавить надо, хвостик свой врагу показать — мол, вот я маленький какой, да живой, вкусенький, не то что та мертвечина, беги за мною, — останавливался.

Пень-то-репень так разозлился: уже подбегая к муравейнику, ревел так, что любо-дорого смотреть и слушать было, как розовые собраться оттуда все повывалили, сами заревели, взяли палки с огнем трескучим да прямо на мишку да на пня-балбеса побежали с ревом страшным. Конечно, будь то другой медведь, сразу в лес бы обратно сунулся, но этот пень-громадина давно уже потерял медвежий нюх, сам себя царем-королем величал. Вот, когда уже терпеть сил больше не было и шекотка заклекотала внутри так, что пена изо рта пошла, мишка в сторону сиганул, подальше и от тех, и от других. Да только они на него и не взглянули даже. До него ли, когда тут такое творится, когда такая зверюга из леса выбежала.

Ох, ну и мишка-топтыжка. Топ-топ бегом назад, как там друг?

Пока бежал, глядь, а тот как ни в чем не бывало назад идет, малинку-гравинку по дороге рвет да в букетик собирает. Ой, ну вот и беда ушла. Затаился мишка в высокой траве, да от усталости и сам брык на бочок.

Много прошло времени, сам не помнил сколько, только встал мишка — и к краю леса; чем ближе подбегал, тем яснее чувствовал — не осталось на добром свете медведя злого, что друга его разделить хотел, одни рожки да ножки от зверюги остались; теплой кровью везде веяло и кровь была густая, медвежья. Вот и беде конец! Вот какой мишка молодец!

Ох, камень с плеч, заживут теперь, как давеча жили, душа в душу.

Да только если бы да кабы. Не пришел друг сердечный больше на свидание, ни завтра не пришел, ни послезавтра; до самой зимы не приходил.

Мишка долго горевал, ясно он чувствовал родимого своего со товарища, да собственно, каждый ясный день видел его у муравейника. Но не пускали к мишке сородичи больше, не доверяли, а его к другу шекотка ни в какую не пускала.





Страдал он очень, только горестные раздумья разными хлопотами разбавлялись, ведь медленно, но верно зима приближалась. Мишка чувствовал ее приход по осенним листьям, по замороженным ягодам, по сухим веточкам, по пряному, чуть остывшему пыльному ветерку.

За последнее время мишка очень вырос, возмужал и каждый день бегал смотреть на муравейник, а потом опять в лес да на речку: надо было много жиру напасти, чтоб зиму пережить, не как в прошлый раз, когда он, неразумный, с голоду чуть не помер по весне. Норка ему маленькой совсем стала, невозможно ему было уместиться там, но и уходить нельзя было: придет друг его по весне тепленькой, придет, родимый, к месту старому, а мишка уйдет и не узнает об этом.

Придумал он лапами побольше выкопать земли из норки; целый день потратил, не бегал на речку и по грибы, и получилось у него настоящую берлогу вырыть. Вот какой молодец!

Но друга не было. Долго носом воздух втягивал мишка у края леса — пропал медовый запах из муравейника. Все запахи остались, кой-какие приме-шались, а медок ушел.

Одно только и знал, чутье ему говорило: жив друг, держись, мишка, вернется он.

Так шли весны, с их капелями и ручьями пере-ливчатыми; так шли осени дождливые с яркими листопадами. Мишка носом осенние листья вверх поднимал и следил, как они падают, дружка своего маленького вспоминал; все вспоминал и надеялся: наступит час — вернется друг.

Много воды утекло, временами тяжеловато одному было, но никуда он с места не уходил и чужих к себе не пускал, ждал.

Сам понял однажды мишка: вырос он; теперь, если сунется кто, так по морде схлопотать может — мало не покажется, если мишке не понравится что. Но он добрым был, просто так не обижал.

И вообще давно заметил: Лес, он тоже добрый очень, все здесь разумно устроено: скажем, зима задержалась, птичке еды мало стало, так зато по весне комаров выведется целая туча, а все зачем? Чтобы всей семейке певучей хватило.

Или старый лось стонет, не может кору есть, не может за молодняком смотреть да быстро по лесу бежать, так волки сразу такого чуют,



молодых да сильных не трогают, а этого бедолагу пасут и кончают его быстрехонько; волкам серым ведь тоже кормиться надо, не без этого. Все по полочкам, все поровну, все так устроено у Леса было.

Мишку только никто не трогал: ни птичка, ни рыбка, ни белочка, ни другие медведи. Да и ему они на что были?!

Малинка-ягода, медок — вот и сладкий уголок! Ну и хорошо. У мишки свой друг есть, проверенный.

А все чаще бывало — сядет он у поля, засмотрится на луга, на душе зов появится, и вдруг как будто сзади кто-то пробежал, кустики растряс, на него

взгляд кинул. Мишка обернется да следом ринется, след возьмет, воздух носом весь в себя вберет, глаза закроет и представляет, как друг его сердечный бежит к нему на встречу долгожданную. Иной раз друг его сквозь березки померещится, иной раз — мамка. Вдыхал-вдыхал, не пахнет ли медком или молочком? Долго звуки с запахами в себя вдыхал, долго их по ноточкам раскладывал. Этот васильковый, этот березовый, тот пшеничный; нет, не медовый...

Но подсказывало мишке чутье: движется ему на-встречу что-то хорошее, что-то большое и доброе...

Видел он это и по облакам: утром встанет, на облачко взглянет — рыбкой облачко; на речку идет — улов большой его ждет... Другой раз встанет утречком, пчелкой облачко — пора на дерево лезть, медком подкрепиться... А тут птичка его сама разбудила: чирикать стала, да так заливисто; мишка спугнуть ее боялся, не выходил из берлоги, так она сама, невеличка, к нему залетела, да что-то щебечет, щебечет чудесное...

Долго он один-одинешенек был, совсем одичал, видать; вот птичка и прилетела его навестить: не бойся, Миша, больше, не расстраивайся; все, Миша, хорошо с тобой будет. Почирикала и улетела.

Сам не свой мишка стал: и малинка ему не сладкая, и черничка не пряная, и рыбки не хочется. Так весь день и прошатался? как пень-репень без дела... Стал к берлоге своей подходить, как вдруг — али показалось? — медком запахло, да не простым, а тем самым! Тем самым, долгожданным! Бегом бежал, сердце тук-стук, вот-вот прорвется сквозь медвежью шкуру...

За миг прибежал, а там лежит... Глаза закрой — друг лежит; глаза открой — розовый муравей большой.





Приблизился мишка, глаза закрыл, чтоб не мешали. Ох, медок, ох, ромашки родные полевые, ох, травка придорожная, ох, молочко теплое парное... Много всякого, и родного и чужого, ему привиделось. Да оно и понятно, давно друга не было, носило его, родимого, где-то...

Только один запах мишке совсем уж новым и странным показался, так мамкой пахло. Или забыл он? Гнал его носом, назад выпускал, но тот привязался, хочешь не хочешь, на нос к нему уселся и сидит.

Открыл глаза мишка и лапой своей ласково провел по голове друга. Лапа своя ему такой большой показалась, будто впервые он ее такую увидел. Глянул на шерстку дружка длинную пшеничную и на свою шерсть, бурую, нечесаную, и не узнал ни себя, ни друга своего. Вот тебе и птичка начирикала...

Только что страдать-горевать-убиваться? Лег мишка рядом с дружком своим долгожданным да и заснул крепким сном, которого давно у него не было...

Сколько проспал — не помнил, да только когда проснулся, увидел рядом медведя другого, точнее, и не медведя вовсе, а медведицу. Глаза закрыл — друг мерещится; глаза открыл — медведица сидит, на него спокойным взглядом смотрит... Сон, не сон? Опять закрыл глаза — друг сидит, открыл — глаза умные, терпеливые, добрые... Подумал мишка чуток, вдохнул воздух, посмотрел на облачка — да вроде нет опасности. А что гадать долго? Встали да пошли по лесу, ведь вечер уже, а еще столько дел надо сделать, у медведей ведь как: сиди не сиди, а зима не за горами...



За печкой вкусно-вкусно пахло пирожками с морковкой, свекольной стружкой сладенькой, яблоками с подливой из медка, супом из топора... или это из другой сказки?..

Все запахи за день соберутся, в одно облачко сольются и за печку спрячутся, чтобы деткам ночью слаще спалось после рассказов бабушкиных про добрую матушку-природу, про чудеса ее чудесные да про то, как мишка бурый девочку-бедняжку повстречал... Засыпали детки, головки на подушки роняли, ноженек не чувствовали — так



за день набегались. А денек сегодня хороший был, и папка так говорил: завтра лучше будет, спите...



Новости губернии. В N-ской губернии пропала крестьянская девочка, больная падучей болезнью. Предположительно, причиной страшной трагедии стал медведь-людоед. Подобное имело место быть несколькими годами ранее.

## Конец







## Сказ про Бестолковую Таньку

**Ж**ила-была на свете Танька. С виду вроде ничего: глаза ясно-синие, как небо летнее в поле пшеничном. И ростом выдалась не меньше остальных в деревне – родилась с оглоблю целую. И фигурой, так сказать, вперед и в разные стороны красиво выдавалась. Да и лицом, так и эдак посмотри, не чучело огородное: нос – не крючком, волосы – не паклей, руки – не лопаты. В общем, увидишь издали – за красавицу принять можно было. Только звали все Таньку Бестолковая. А «за глаза» так просто бестолочью.

Эх, вздохнем тяжело и выдохнем легко,

И начнем, пожалуй, новую былицу ...

Слушайте, люди, как сказки сказываются...

Да не только про премудрых да про прекрасных,

Но и про глупых человеков, Ванек да Танек разных.

Жила-была-не бедствовала Танька одна. Повелось ее всерьез не воспринимать в деревне. Даже учителя в школе сельской старались ее лишний раз с места не поднимать. Ибо любила Танька поговорить. И высказывала мнение свое много да размашисто, руками длинными вокруг махая, будто мух разгоняла. Незнаючи, народто по началу прислушивался, потом вздыхать да зевать начинал, а затем так скучно становилось, что от глупости всякое терпение к

Танькиной персоне пропадало. И воспитанные тихонько старались сгнуть с глаз ее долой, а кто похрабрее – рукой на нее махали и без «до свидания» уходили.

И вроде бы не глупая деваха родилась эта Танька, да только все впросак говорила. Поэтому знакомые и соседи лишний раз мнения ее бестолкового не спрашивали. Да вот загвоздка была! А хоть бы и не спрашивали, Танька все равно свои советы без спросу давала направо и налево. Вот так и жили. Да что делать? Мало ли людей странных на земле?! А Танька – своя, хоть и бестолковая. Все равно в обиду не дали б. Вот все и привыкли к причудам ее.

\* \* \*

Что сказать про семью? Хорошая у нее семья была, скромная. Из уважения никто в глаза иль шепотом при матери-отце мнения своего о дочери единственной не выказывал. А что зря расстраивать хороших людей? Знают родители, чей не слепые и не глухие, кого уродили на свет божий. А что толку жаловаться да вздыхать... Спасибо, что здоровая, сильная да на своих ногах ходит; по дому и в поле дела делает. Ждали терпеливо по-отечески: авось ум-разум сам проснется иль с годами и опытом житейским прибавится.

Да не скоро пироги пекутся, тесто сначала подойти должно. А куда родителям торопиться...

Однажды приходит домой Танька и заявляет торжественно, мол, замуж выхожу и уезжаю жить в приморские владенья будущего супруга. Давняя мечта ее сбежать с деревни, где ее знают все, как облупленную.

Присели родители от неожиданности: ойкнула мать, заикал отец. Танька сзади подошла, похлопала по их спинам крепко от души – икота с испугом сразу прошли от руки ее тяжелой. И давай рассказывать, мол, так и так, влюбилась без памяти. Он – судьба ее. Все, что в жизни Танька чаяла или не чаяла в супруге найти – все он! Сам торговец с далекой страны, завидев ее да послушав, говорит – женюсь!

Послушали-послушали ее родители и попросили отвести их на рынок, где она того знатного жениха заграничного встретила, что захотел с бухты-баряхты жениться.

Ничего хорошего такое знакомство не предвещало, думали родители. Хитрец ли, чудака или дурак какой.





Пришли, глянули – вай, стоит на телеге коротышка чудной, лицом точно ненашенский: носастый, с кучьими волосишками, кричит на всю округу картавлями своими, будто зуб у него больной или скарлатина замучила.

– По-каковски болтает женишок-то? – спросил отец Таньки, хмурясь.

– Латину шпарит, окаянный, – заметила мать, головой качая да охая.

– Итальянец! – горделиво покрутила башкой Танька.

– А тоший-то, мелкий, как пупырышек, Таньке-то, небось, в пупок дышит, – возмутился странному виду жениха отец.

– Зато богатый и обещал меня на чужбине принцессой содержать, – улыбалась Танька, не замечая, как похихикивает люд вокруг. А Таньке латина нравилась, она хоть и бестолковая, да не глупая к наукам-то была. Чей, первой в классе болтушкой слыла. А Таньке хоть на латыне, хоть на чертовщине – одно нравилось болтать и мнение свое собственное высказывать.

Сказала она женишку-то что-то на не знакомом родителям языке. Просиял иноземец, спрыгнул с телеги, овоща иностранного полного, чисто чертополох на вид, и давай руку отцовскую тормозить, счастливым лицом маслиться.

– Ты скажи ему, Татьяна, пусть сначала грамоту покажет, что не прибудный и не сумасшедший, не женатый у себя там на чертополощине. А выкажет ответственное желание жениться на тебе, потом руки жать будет. А коли ты совсем не рехнулась, так сама подумай, если тебя местные замуж не берут, с какого чертополоха, не знаячи ни семьи – ни положения, торгаши иноземные захотят?! – сурово спрашивал отец.

Осерчала Танька да в сердцах как шибанет по телеге-то, весь ассортимент по округе с грохотом переворачивая, вместе с суженным и возом.

Только мать вздыхала, руками лицо закрывая, вроде и силушка имеется, ум какой-никакой народился, а Бестолковая Танька, как не крути.

\* \* \*

А через время недалекое настал долгожданный Новый год, для женихов с невестами день счастливый, сватовской. Апосля сбора



урожая хорошего да работы знатной, ради отдыха, веселья да устроения мироустройства, стали главы деревень больших праздника широкие разворачивать, чтобы замуж дочек и сыновей подросших повыдавать.

В поле, в работе, в поту насмотрятся друг на друга семьи-то – кто как мотыгой машет. И тут уж не до шуток с забавами становилось, ибо в таком вопросе трудолюбие и годность ценились выше, чем семечки шелкать да песни распевать. В таком ракурсе ценили Таньку – прощали пустословие. Может, поэтому какие-никакие друзья-знакомые водились у нее. Ибо, работница была она усердная, ничего не попишешь. А может, специально дружили с девушкой в посевные да сборочные времена, чтоб выезжать на силе ее лошадиной, самим баклуши стуча там, где трудиться приходилось. Ибо что не скажи: какая Танька – такое и окружением. А друзьям таким тоже слава дурная, на дурости других выезжать.

Многие семьи засматривались бывало, как она в раже могла скосить травы или пшеницы нажать одна за троих мужиков. Да только как начинали прознавать поподробнее – пропадал интерес болтушку такую в дом заводить. Дома, чей, отдыхают и даже уши на веревки проветриваться вешают, довольно и улицы для этого. Своих начальников и верховодок хватает!

\* \* \*

К празднеству разоделась Танька по самому последнему писку! Аж, мать пискнула, а отец, как воды в рот набрал от такой красоты. Спрашивают:

– Что ж ты, бестолковая, разоделась, будто курица в перьях и ноги свои куриные оголила?!

– Ты, батюшка, ничего в моде европейской не понимаешь. А мне уже надо себя по-иному строить, скоро все сарафаны ваши да вышиванки в сундук долгий складывать. Ибо там, куда еду мода другая. Себя надо показать с лучшей стороны, – бравировала Татьяна, – и вовсе то не перья, а воланы, – крутилась перед зеркалом довольная девушка, рассматривая и волосы свои рыжие, будто у веселухи к спектаклю уложенные, и сарафан подрезанный, и губы красные бантиком, подведенные свеколкой полевой спелой, чтоб издалече видать ее красу было.





Как не уговаривали, как не увещевали – ничего не помогало Таньку переубедить пойти переодеться. На одно родители надеялись, что не пустое болтает, и впрямь итальянец явится и Татьяна ему краше чертополоха своего поганого покажется. И заберет он ее в свои края бестолковые, где женщины, словно курицы с голыми ногами по улицам гуляют.

\* \* \*

Словом, как в воду глядел отец, – не пришел иноземец на Новогоднее празднество, встречу с родителями для знакомства долгожданного. Как в воду канул вместе с возом, лошастью и чертополохом поганым. Обескуражил общество, опозорил Таньку.

Проревела девушка весь Новый год, свеклу по лицу размазывая. И жалко и не жалко ее становилось бестолковую... Сама ведь неведомо куда понеслась, сама накрутила, сама теперь расхлебывай...

Не до праздника стало семье Вырывайкиных.

Сидели угрюмо на кровати в светлице и думу думали, что дальше делать.

Матушка, вздохнув тяжело, сказала:

– Совета надо мудрого спросить, как дальше жить. Сами мы довели историю свою туда, где находимся, а значит, со стороны взгляд нужен, нам невидимый.

На том и порешили.

\* \* \*

Жила-была в соседней деревне женщина одна. Звали ее попросту Павлиной Куприяновной. Большая семья была у этой уважаемой женщины. Полдеревни в ее родственниках ходила и все до земли кланялись, когда ее на улице встречали. Ибо слыла она премудрой советчицей, доброй женой, превеликой травницей, умелицей по житейским вопросам. Много людей приходило ее совета спросить – никому не отказывала. Ибо за спрос деньги не берут, как известно. А коли совет неверный давался или неподходящий, можно было его на заборе повесить остаться за ненадобностью. На то и сказано – бесплатный он. Не надо – не берите!

Пришли Вырывайкины за советом к ней. Усадила Павлина Куприяновна их за стол чай пить: отца по правую руку, мать – по ле-



вую, а Таньку прям по середине, чтоб глаз не сводить с проблемы, что на двух ногах дошагала за советом в другую деревню.

Рассказал отец все по правде, мать подтвердила кивком. На что Танька хотела сказать свое мнение, а Павлина Куприяновна ей, как гаркнет:

– Твоего мнения, бестолковая, никто еще не спрашивал! – и сердито на девку глянула, что Таньке расхотелось в первые в жизни поперец перечить.

– Что жива-здоровая дочь ваша, не полоумная, лицом не уродлива, от трудов не отлынивает – это хорошо. Спасибо высшим силам! За то, что строптивая да бестолковая – то вина ваша, вот вы на старости лет и расхлебываете ошибки воспитания. Ибо воспитывать дитя надобно не только сказками да пряниками. Сильные ребята – силу понимают. А ваша только что с виду девчонка, внутри чистый кремень.

Подарил ей Боженьки силы на три жизни. Зачем? Это нам неведомо. Но просто так такими подарками Всевышний не раскидывается. Значит, есть причина, – продолжала Павлина Куприяновна, платок поправляя да чай попивая. За время разговора с умной женщиной немного и родители растаяли, серьезный человек за их трудности думает, значит, будет толк.

– Что бестолковая... – хотела продолжить советчица, как вдруг Танька слово свое веское вставила-таки.

– Лично я так не считаю! Люди деревенские по себе судят, а они кто? Свекла с редькой. Буду я еще ботву какую слушать...

И не успела вздор свой договорить, как крикнет от боли. Это Павлина Куприяновна от такого нахальства девичьего опешила, потому привстала, и, не дожидаясь окончания чепухи, ложкой деревянной по башке как даст Таньке-то. Хрясь!

– Молчать! Когда старшие разговаривают! – возмутилась хозяйка, глазами серыми сверкая. – Верно-то люди заметили – БЕС-ТОЛ-КОВАЯ! – и кулаком по столу деревянному ударила в сердцах.

– Да ты хоть понимаешь, балда, что ты семью свою позоришь! После твоих бредней, недомыслия, что вперед отца с матерью лезешь, землю нашу позорить собралась на чужбине – никто тебя серьезный и стоящий замуж не позовет. Кому скудоумие с дуростью в







дом нужны?! Говорят тебе, седи да помалкивай, слушай больше, рот не разевай, раз сказать путного нечего.

И отпив чайку горячего, кипя да краснея, словно самовар, продолжала:

– Так вот, уважаемые соседи, не зря народ-то подметил, что бестолковая дочь ваша, – и грозно глазюками своими серыми в середину стола воззрилась, – люди просто так не скажут! А что значит бестолковая? Это значит, без толку, то бишь без цели верной живет. А того мается и вас мучает. Всю гордость, все тщеславие, желчь, своеволие и сумасбродство рода Танька на себя взяла. И Бог ее за это одарил силушкой невиданной. И если этим качествам дорогу верную подобрать, ума вложить, правильно наладить – цены Таньке вашей не будет, – и только хотела вздохнуть премудрая Павлина Куприяновна, как Танька опять свои пять копеек успела вставить.

– Что я телега что ли, меня настраивать надо?! – И во второй раз в лоб ложкой получила, что вторая шишка образовалась. Хрясь!

– Ох, Матушка Владычица Святая Богородица! Бестолочь! – рассердилась уважаемая женщина. Отец с матерью лишь повздыхали печально, привыкли к плохому воспитанию детинки своей неразумной.

– Ну, так вот вам мой совет. Есть у тебя, Танька, три пути с этого места. Прям, как у Ильи Муромца. Направо пойдешь – ничего не потеряешь. Так и будешь дальше жить старой девой придурастой, со временем в злыдно превратишься, а после смерти родителей на подаяние и доброту соседей выживать станешь, судьбу проклиная, пока не помрешь никому ненужная.

Мать рукой за сердце схватилась. Ну и советы!

– Это мне не подходит! – сразу кинула Танька.

– Налево пойдешь – придется тебе потрудиться. Ибо разумными не рождаются, а становятся, горбом своим здравомыслие зарабатывая. Китаезы, например, славятся большими мудрецами, так вот они, чтоб хоть на шаг один приблизиться к основам мироздания, первые десять лет храмы свои подметают лишь, а потом их уже к книгам священным допускают. И нет никому поблажки!

Вот и ты приходи на служение. Найдем тебе работу: за больными и проказными ухаживать, горшки выносить за престарелыми, под-



метать места отхожие и так далее. Десять лет это, конечно, многовато будет, мы все-таки не китаезы аскетические, что кузнечиков по чем зря едят. А лет пять с тебя хватит, пожалуй. Проснется разум-то от трудов благих. Обязательно проснется! Да не одна ты такая будешь: пятеро таких премудрых в служниках ходят. Так что веселее будет. Авось повстречаешь свояка в компании такой: найдет коса на камень, и будете жить молния с грозой всю жизнь. Ничего, и такая любовь бывает.

От второго совета матушка другой рукой за голову схватилась.

– Не для того я наукам обучалась, чтобы горшки ночные выносить... – начала было Танька да примолкла, боязно шею вытягивая, ибо в третий раз ложка над ней взлетела, но в воздухе висеть так и повисла.

– Дура ты, Танька... Да только не стану я тебя ложкой больше колшматить, пусть жизнь тебя научит, что тебе мои шелбаны – колыбельной покажутся. Хотя поверь тетке опытной и года не пройдет, придешь ко мне в избу в ногах прощения просить да жаловаться, что зря я тебя сейчас не стукнула от души. Может быть, шелчок этот перевернул бы в твоей башке безглаздой малек что-то, и по-другому бы ты на мир взглянула. Да не стану... – серьезно молвила тетенька, на место усаживаясь. – Вот тебе третье решение. Собирайся на войну. Там с тебя толк будет.

А от третьего совета матушка и вовсе дух потеряла, со скамьи на пол падая калачом. А Танька, наоборот, заинтересовалась таким поворотом.

– У тебя, Танька, какие мечты по жизни имеются? – допрашивала спокойно Павлина Куприяновна.

Закатила Танька глаза:

– Хочу прославиться: дело какое-нибудь важное совершить или еще как-то доказать свою значимость. Чтob зауважал меня народ! Преклонялся передо мною и моими талантами.

– Все будет тебе: и подвиги и преклонения на войне; как раз сейчас одна такая нарисовалась, аккурат для тебя. Силы в тебе – пруд пруди. Отваги и упрямости – с гору навалило. Живыми руками не возьмешь. Одним словом, туда тебе и дорога. Можешь применить себя там со всеми талантами, например, помочь справедливость на-





вести; люди твое имя каждый день вспоминать станут. А коли выслужишься, так и вовсе в генеральши войдешь, тут уж целая армия тебе коленом преклонится. А в деревне жить с таким характером, сама знаешь, что свиньям бисер метать.

– Кто воюет сейчас? Кто с кем бьется?

– Наши против чужих.

– А мне с кем?

– Дойдешь до поля битвы, там и решишь, – похлопала по плечу девицу Павлина.

Задумалась Танька, а что, не так уж и глупа тетенька эта оказалась. На том и порешили. Уходила Танька довольная, а плачущим родителям Павлина Куприяновна на прощание шепнула, чтоб не беспокоились: во-первых, на войну девиц не пускают драться, лишь сестрами милосердия – научиться Танька врачеванию, что всегда полезно для бабы; во-вторых, насмотрится чего жизнь человеческая стоит, авось и вправду проснется от бестолковости разум; в-третьих, Бог дураков любит, а значит с девчонкой все хорошо будет, урок на пользу пойдет.

Успокоила...

А Танька Бестолковая, долго не думая, сразу же котомку с припасами собрала, саблю батюшкину со стены скрала, сапоги резиновые да ножечек грибной с собой прихватила, и в полночь, родителей многострадальных не будя, на войну отправилась.

За славой, за победой, за генеральством и уважением!

\* \* \*

Долго ли, коротко ли, а шла Танька, себе под нос песни девичьи напевая, и дошла до роши березовой, где встретила вояку сурового, что своей острой саблей березе молодой ветки грубо рубил. Умирало дерево, не в чем неповинное, крича тишиной.

– Эй, служивый, а где тут война идет? – спросила Танька.

– Вон там, – показал в даль своей саблей истязатель.

– А наши где? – продолжала вопрошать девушка.

Хмуро исподлобья глянул на деревенщину вояка, разглядывая, и молча указал налево.

– Спасибо, дяденька, – поблагодарила девушка, – только зря ты дерево вырубашешь почем зря, примета говорят плохая, с войны безногим вернешься..., – и пошла туда, куда указывали.

А дядька долго еще ей в дорогу смотрел, про березу позабыв.







\* \* \*

Давным-давно эти края дивные, куда Танька забрела уважение разыскивая, славилась природой могучей и людьми честными да сильными. Если на юг за невестами чернобровыми ходили, то сюда, на север, — за женихами знатными светло-росыми. Богатый край был на умельцев здешних. Однако пришла девушка в места, где акромья мусора и развалин, ничего больше не осталось.

И сидели на этом пепелище грязные мужики, до зубов саблями и пистолетами вооруженные. Глянули на Таньку, что огурцом свежим супротив них чумазых переливалась, и ухмыльнулись нехорошо.

— Здрасьте, вояки, — начала разговор девушка. — Здесь ли война проклятая идет?

— Здесь! А ты зачем пришла? Воевать что ли? — рассмеялись озлобленно мужики, чьи морды в оскале на волчьи да кабаньи стали похожи.

— Воевать и справедливость налаживать. А вы, чей, наши? — спрашивала Танька храбро.

Опять рассмеялись мужики, башками сальными крутя. Танька толком не понимала разон для смеху, поэтому серьезно продолжала себя вести. Все-таки, война.

— Мы — сволочи, дура! — уж в третий раз зло расхохотались трое.

Тут Таньке совсем смеяться расхотелось. Нахмурилась она, вглядываясь в серые небритые рожи. На вид, мужики как мужики, только что грязные и хамоватые.

— А почему вы сволочи-то? — не угоманивалась удивленная девушка.

— Нас так все кличут вокруг, — просто ответили они.

— А что вы делаете?

— Воюем: дома рушим, людей обижаем, скот бьем, чтоб все в пыль вокруг превратить. Кошкям разным хвосты отрезаем, чтоб неповально было... Ха-ха-ха!

— А зачем в пыль-то? Люди, небось, строили-старались не для того, чтоб другие рушили, — удивлялась Танька.

— А нам почем знать, зачем? На то — приказ свыше. И какая нам разница кто что строил, земля-то не наша, не мы дома-огороды здесь возводили, не нам и восстанавливать, — ухмылялись зло дядьки.

— Ну, вы и сволочи! — сплюнула Танька.







Вдруг один поднялся, ножичком острым в воздухе поигрывая, к девушке глаз свой немытый направляя.

– Ты, ножичек-то брось, сволочь. Я у бати в огороде кабана одним уларом в глаз уложила, а уж с тобой, шишира, в миг справлюсь, забудешь как тя звали, – зло зыркнула Татьяна в сторону мужичка, который вдруг присел обратно от такого отворота-поворота.

– Где у вас тут штаб что ли? Где сволочей лечат? – не церемонясь, продолжала Танька.

Мужики указали на один единственный уцелевший дом. Туда Татьяна и направилась. Пока шла, удивлялась дикостям войны. Странным ей все это показалось: поля опустошенные, скот мертвый повсюду, даже у берез ветки отрублены. И сволочи вокруг... Что за война? За что дерутся? Какой куш хотят словить? И решила она остаться повоевать, поглядеть, что да как тут делается. Вдруг здесь ей славу найти удастся, среди сволочей-то бестолковая не так в глаза бросается...

\* \* \*

На следующий день большая битва была, ибо не сразу, но понемногу собрался народ со всех весей и объединился против сволочей биться. Поэтому дальше, чем это селение, что в березовых рощах когда-то самым красивым считалось, сволочи не продвинулись.

А на этом наша сказка заканчивается, люди добрые.

Ибо война – дело кровавое, подлое, и совсем не сказочное.

Кто жив остался, свое спасение от ее ужасов – волшебством считает.

Но вспоминая пережитое – не до сказок становится ни детям, ни взрослым.

## Конец сказки



Прошло много времени; утекло оно, как вода сквозь пальцы, не остановишь. Поседел совсем Василий Федорович, осунулась Алевти-



на Егорьевна, то ли от старости, а то ли от печали за судьбу дочери своей бестолковой, пропавшей без вести на войне.

Из уважения к ним старались соседи и знакомые лишней раз не напоминать о горе горемычном, помогали кто чем мог. А к тому моменту, уж не одна Танька на войне пропала. Много народу ушло и не вернулось. И глупых, и умных, и красивых, и богатых с бедными. Так общее горе объединило людей.

\* \* \*

Одним свежим утром, предновогодним, постучался кто-то в двери к старикам. Открыла мать и попятилась в изумлении, руками за горло хватаясь.

На пороге стояла дочь потерянная. Танька Бестолковая. Стояла и светилась лицом лучезарно; и было оно загорелым, повзрослевшим, потертым, но как никогда красивым.

Забрызгали слезы с глаз со всех сторон. Налетели родители на дочь беспутную, да все равно любимую единственную, кинулись в объятия ее широкие, за годы пропажи еще шире ставшие.

Наобнимались вдоволь, наплакались, а потом опустилась на колени Танька, взяла в руки подол матери и заговорила голосом, огрубевшим от криков войны:

– Прости меня, матушка любимая. Во всем права ты была. Хорошего мне, дуре окаянной, желала. Да ведь разве знаешь, где найдешь, где потеряешь?! Сколько стоит оно, отношение доброе? Пока плохого не глотнешь, не осознаешь. Прости меня, неразумную глупую заносчивую дуру.

Потом руку мозолистую отца взяла.

– Прости меня, отец родной. Знаю, сколько стыда и позора принесла я своим нерадивым поведением, хотя ты меня воспитывал справедливо по-отечески, лишней раз не облагал работою. Берег меня. Прости, если сможешь. Нароботалась я на войне за троих, – и показала руки свои шершавые, совсем не девичьи, в шрамах и мозолях, как от работ каторжных.

Ахали от удивления и поражались родители растроганные такому чуду.

– Главное, что жива-здоровая, Таня, ты возвратилась. Это самое важное. А тут уж уживемся как-нибудь втроем, – говаривали родные.





Разулыбалась Татьяна, утерла слезу, встала с колен, обняла любимых и говорит:

– А ведь права была Павлина Куприяновна, не хватало мне третьего ее шелчка знатного, авось вразумилась бы раньше. Но ведь пироги не сразу пекутся – тесто взойти сначала должно. Не с пустыми руками я домой приехала. С подарками да гостиницами.

Присели отец с матерью от неожиданностей Танькиных. Опять боясь ее сюрпризов.

– Да уж готовьтесь к хорошему. Плохое закончилось. Вместе с войной в прошлое кануло. Генеральшей не довелось побывать, это правда, но начальницей среди спасительниц милосердия таки стала, – и, откинув воротник, показала гордо медаль серебряную, какие только заслужившим храбростью и трудом дают, чтоб издалека героев видно было.

Дивился Василий Федорович, выпрямилась от гордости за дочку спина Алевтины Егорьевны.

– Да не все это.., – запылала щеками Татьяна, – встречайте мужа моего любимого и деток моих родненьких. Кому война – утрата, а я, видать, бестолковая, на войне три жизни успела прожить и нажить.

И вошли в сени мужчина и двое мальчиков-погодок.

– Да не смотрите, что без ноги Иван мой. На войне утратил. Зато рукам его чудесным цены нет. Война его научила ценить все, что другими делается, чтоб не ломать без толку-то и чинить потом не приходилось зазря.

Ну и принимайте подарочки мои судьбоносные, Сеню и Веню. Хорошие ребята. Сама воспитывала.

Вот такие дела. Ваша Сердячко Татьяна Васильевна.

## Конец



## Содержание

Предисловие . . . . .	3
Сказки Маруси Козы . . . . .	5
Сказ о добре и зле, Старшей Сестре и Земле-матушке . . . . .	24
Жизни начало или Слеза Зари . . . . .	52
Сказка про мишку . . . . .	72
Сказ про Бестолковую Таньку . . . . .	86



Литературное издание

Евгения Хамуляк

# Былицы

*художник:* Ксения Грей

*стихи:* Светлана Попова-Торговина

*Верстка и оформление:* И.В. Сазонова



Издательский Дом  
«Библио-Глобус»

<http://www.idbg.ru>  
тел. +7 495 215 01 38

ISBN 978-5-906830-38-8



Сдано в набор 28.11.2015. Подписано в печать 11.01.2016.  
Формат 60×90/16. Бумага офсетная.  
Гарнитура LiteraturnaC. Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5.  
Тираж 1000 экз. Заказ № 2594.

Отпечатано:

Публичное акционерное общество  
«Т8 Издательские Технологии»

109316 Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5  
Тел.: 8 (499) 322-38-30